



Сергей Платонов

**Под шапкой Мономаха**

«Прогресс-Традиция»

## **Платонов С. Ф.**

Под шапкой Мономаха / С. Ф. Платонов — «Прогресс-Традиция»,

В сборник включены работы выдающегося историка России академика Платонова, написанные в жанре исторического портрета и принесшие ему широкую популярность. Читатель найдет здесь оригинальные и проницательные характеристики Ивана Грозного, Бориса Годунова, Алексея Михайловича, Петра I.

# Содержание

Предисловие	5
Иван Грозный	14
Вступление	14
Глава первая	21
1. Общие условия эпохи	21
2. Время регентства	23
Глава вторая	29
1. 1547 год; образование «Избранной рады»	29
2. Приступ к реформам	32
3. Реформа местного управления	34
4. Военно-служилая и финансовая реформа	36
5. Церковно-общественное движение	38
6. Завоевание Татарских ханств	39
Глава третья	43
1. Болезнь Грозного	43
2. Расхождение царя и «Избранной рады»	44
Глава четвертая	46
1. Балтийский вопрос и опричнина. Вопросы внешней политики. Крым и Ливония	46
2. Ход Ливонской войны	49
3. Опричнина; ее аграрно-классовый характер	52
4. Последствия опричнины	56
5. Перемещение трудовой массы и хозяйственный кризис	59
6. Борьба с последствиями кризиса. Южная Украина	61
7. Грозный в его последние годы	63
Борис Годунов	67
Глава первая	67
1. Личность Бориса в научной литературе	67
2. Род Годуновых и служба Бориса; момент его выступления на государственном поприще	69
3. Вопрос о верховной власти в Московском государстве. – Старое московское боярство. Княжата XVI века. – Местничество. – Княженицкие вотчины. – Опричнина Грозного; ее прямые и косвенные последствия	70
4. Боярство в исходе XVI века. – Родовая знать и государева родня; их взаимные отношения	76
Конец ознакомительного фрагмента.	78

# Сергей Федорович Платонов

## Под шапкой Мономаха

### Предисловие

После кончины знаменитого В.О. Ключевского в 1911 году первым из здравствовавших тогда историков России в представлении многих стал Сергей Федорович Платонов – выдающийся исследователь и знаток прошлого нашего Отечества (особенно XVI–XVIII столетий), первоклассный лектор и наставник в семинарских занятиях, заведующий кафедрой русской истории Санкт-Петербургского университета – создатель научной школы (среди старших его учеников Н.П. Павлов-Сильванский и А.Е. Пресняков), организатор системы образования и учитель гимназических преподавателей. Двое других великих петербургских ученых – академики А.С. Лаппо-Данилевский и А.А. Шахматов, труды которых на исходе нынешнего столетия признаются вершинными достижениями отечественного исторического и историко-филологического источниковедения, – имели значительно меньшую известность в кругах, отдаленных от академической среды.

Ко времени революционного 1917 года обе диссертации Платонова (о России рубежа XVI и XVIII веков) были переизданы, докторская «Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. (опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время)» – вышла даже третьим изданием. В 1903 году Платонов выпустил отдельной книгой свои статьи по русской истории (за 1883–1902 гг.). В 1911 году в Санкт-Петербурге издали книгу к 25-летию ученой деятельности историка – «Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели: Сборник статей, посвященный С.Ф. Платонову». Там же, после списка печатных трудов юбиляра, помещен Сонет, сочиненный в его честь К.Р. – великим князем Константином Константиновичем, президентом Академии наук. Расширенное второе издание «Статей по русской истории» (теперь уже за 1883–1912 гг.) вышло в свет как первый том «Сочинений» Платонова. Неоднократно переиздавался его лекционный курс русской истории, ежегодно – учебники для средней школы.

В советские годы Платонов продолжал многостороннюю научную деятельность, издавал книги («Борис Годунов», «Иван Грозный», «Прошлое Русского Севера», «Смутное время. Очерки истории внутреннего кризиса и общественной борьбы в Московском государстве в XVI–XVII вв.», «Москва и Запад в XVI–XVII вв.», «Петр Великий. Личность и деятельность», «Далекое прошлое Пушкинского уголка. Исторический очерк»), статьи, документальные публикации. Труды его – и дореволюционные, и советских лет – переводились за рубежом: лекционный курс русской истории – на английский (1925 г.), немецкий (1927 г.), французский (1929 г.) языки. В 1922 г., в связи с 40-летием окончания университета, вышел из печати еще один «Сборник статей по русской истории, посвященных С.Ф. Платонову».

Избранный в 1920 году академиком Платонов вел многообразную научно-организационную работу – был председателем Археографической комиссии, директором Библиотеки Академии наук и Пушкинского Дома; в 1920-е годы фактически руководил деятельностью Академии наук в сфере исторических наук, в 1929 г. стал академиком-секретарем Отделения гуманитарных наук; в первые послереволюционные годы продолжал преподавать в родном ему университете, много внимания уделял краеведческой работе, выступал с публичными лекциями в Ленинграде и других городах. Платонова признавали одним из самых знаменитых деятелей науки: автобиография его была помещена в популярнейшем журнале «Огонек» в № 35 за 1927 год под рубрикой «Страна должна знать своих ученых».

Однако в обобщающего типа советских трудах по русской историографии – и в учебных пособиях, и в академических «Очерках истории исторической науки в СССР» – характеристике жизни и творчества Платонова не отведено особой главы. Не напечатали тогда и ни одной книги об историке<sup>1</sup>.

Объясняется это трагическим завершением биографии ученого. Обвиненный в руководстве контрреволюционным заговором ученых-гуманитариев, имевших якобы намерение реставрировать монархию, Платонов в январе 1930 г. был арестован, а в 1931 г. лишен звания академика и сослан в Самару, где скончался в январе 1933 г. на семьдесят третьем году жизни.

Хотя в 1937 г. издали (уже в четвертый раз!) классическое исследование Платонова «Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв.», а Высшая школа пропагандистов при ЦК партии опубликовала (правда, «для внутреннего пользования») фрагменты учебника Платонова для вузов, воздействие которого очевидно обнаруживается и в вышедшем из печати в 1939 г. первом томе вузовского учебника «История СССР» (где имя Платонова не раз упоминается в историографических разделах), в первом издании Большой Советской энциклопедии предпочли вовсе обойтись без статьи о знаменитом историке.

В книге «Русская историография», изданной в 1941 г. Н.Л. Рубенштейном, по сей день остающейся наиболее научно-объективным обобщающим трудом об отечественной дореволюционной историографии, о Платонове написано в уважительно-серьезном тоне, без дешевых политических ярлыков; однако и в 1960-1970-е годы Платонова продолжали характеризовать как «наиболее яркого выразителя идеологии реакционного дворянства» в дореволюционный период<sup>2</sup> и выступавшего «с позиции апологета самодержавия» в послереволюционные годы<sup>3</sup>.

Советские ученые развитие исторической науки сводили преимущественно к развитию общественной мысли, отражению в ней актуальной общественно-политической ситуации. Подходили прежде всего с политико-идеологических позиций: «общественная мысль как процесс борьбы реакционных и революционных течений»<sup>4</sup>. Их мало занимали философские и тем более нравственные основы мировоззрения историков. Научным предпосылкам, исследовательским установкам, методике исследовательской, а также преподавательской, популяризаторской деятельности не придавали должного внимания.

Период с середины 1890-х годов до революции 1917 г. претенциозно определяли как время «кризиса буржуазно-дворянской исторической науки»; и взгляды историков, да и все их творчество, оценивали в зависимости от их соотношения с развитием мысли тех, кто придерживался воззрений Маркса и особенно Ленина. Платонову отводили место на правом фланге немарксистской исторической науки. При этом «немарксистское» нередко толковалось как «антимарксистское».

Лишь в 1967 г. были полностью реабилитированы осужденные по фальсифицированному делу «О контрреволюционном заговоре в Академии наук», и Платонова посмертно восстановили в звании академика. Но понадобилось еще более 20 лет, чтобы могли появиться первые журнальные статьи не только о последних годах жизни ученого, но и обо всем его жизненном пути<sup>5</sup>. В 1994 г. издан первый выпуск подготовленного В.А. Колобковым Каталога архива

<sup>1</sup> Литература о научных трудах С.Ф. Платонова в дореволюционный период в посвященной ему главе книги А.Н. Цамутали «Борьба направлений в русской историографии в период империализма» (Л., 1986. С. 66–133). Характеристика трудов С.Ф. Платонова до 1917 г. в обобщающего типа изданиях – в учебном пособии А.Л. Шапиро «Русская историография с древнейших времен до 1917 года» (М., 1993. С. 586–594).

<sup>2</sup> Историография истории СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1961. С. 438. То же во «втором, исправленном и дополненном» издании этой книги, рекомендованной уже в качестве учебника (М., 1971. С. 408).

<sup>3</sup> Очерки истории исторической науки в СССР. Т. IV. М., 1966. С. 305.

<sup>4</sup> Очерки исторической науки в СССР. Т. III. М., 1963. С. 355.

<sup>5</sup> Брачев В.С. «Дело» академика С.Ф. Платонова // Вопросы истории. 1989, № 5. С. 117–129; Он же. Сергей Федорович Платонов // Отечественная история. 1993, № 1. С. 111–128; Колобков В.А. Сергей Платонов: год накануне ареста // Источни-

академика С.Ф. Платонова<sup>6</sup>. Публикацией «Дела по обвинению академика С.Ф. Платонова» начали многотомное издание следственных материалов «Академического дела 1929–1931 гг.». В приложении к «Делу Платонова» впервые на русском языке была напечатана Автобиографическая записка, написанная историком во второй половине 1920-х годов для немецкого издания «Современная наука в изображении самих ее представителей»<sup>7</sup> (именно на эту Автобиографию в основном опирается В.А. Колобков в заключительной статье к настоящему изданию).

В последние годы снова начали печатать и сочинения Платонова – несколькими изданиями вышли его учебники для высшей и средней школы, в престижной академической серии «Памятники исторической мысли» – пятое издание «Очерков по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв.», сопровождаемое статьями Е.В. Чистяковой, в 1993–1994 гг. двухтомное собрание сочинений по русской истории, подготовленное В.И. Старцевым и В.С. Брачевым, переиздаются в виде книг и отдельные сочинения С.Ф. Платонова 1920-х годов, в томах «Археографического ежегодника» публикуются тексты Платонова, выявленные в архивах. Запланировано многотомное академическое издание сочинений Платонова силами Археографической комиссии Российской Академии наук и Российской национальной библиотеки; там предполагается впервые ознакомиться и с архивными материалами фонда историка – неопубликованными исследованиями (о земских соборах и другими), рецензиями, воспоминаниями, письмами. Сочинения выдающегося историка возвращаются отлученному от них читателю, обогащая представления и о прошлом нашего Отечества, и об истории его изучения.

Сейчас становится все очевиднее непреходящее значение творчества С.Ф. Платонова в развитии науки (особенно методики исторического исследования) и образования. На рубеже XIX–XX веков Платонов, как никто другой, синтезировал в своем творчестве источниковедческую основательность так называемой петербургской школы историков (специалистов по истории и культуре и России и зарубежья) и широту многофакторных социологических устремлений московской школы В.О. Ключевского. Рано прославившийся как археограф и текстолог-первооткрыватель, описатель, публикатор памятников древнерусской письменности Платонов старался выявить и основные линии общеисторического развития. Методика исторического исследования в его осознании была тесно взаимосвязана с методологией, с понятием о философии истории. В предисловии к магистерской еще диссертации в конце 1880-х годов он писал: «Из нашего университета вместе с навыками научной критики я вынес стремление к отвлеченным историческим построениям и веру в то, что плодотворна только та историческая работа, которая идет от широкой исторической идеи и приходит к той же идее»<sup>8</sup>.

---

коведческое изучение памятников письменной культуры в собраниях и архивах ГПБ. История России XIX–XX веков. Сб. науч. тр. Л., 1991. С. 155–174; Он же. Академик С.Ф. Платонов и его учебник русской истории // Платонов С.Ф. Учебник русской истории для средней школы. Курс систематический. М., 1992. С. 5–15; Фукс А.Н. Сергей Федорович Платонов. Краткий историко-биографический очерк // Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М., 1993. С. 7–34; Статьи В.И. Старцева «Значение и актуальность трудов С.Ф. Платонова» и В.С. Брачева «Жизнь и труды С.Ф. Платонова» // Платонов С.Ф. Сочинения в двух томах. Т. I. СПб., 1993. С. 5–9, 10–33; Шмидт С.О. Доклад С.Ф. Платонова о Н.М. Карамзине 1926 года и противоборство историков // Археографический ежегодник за 1992 год. М., 1994. С. 39–76; Он же. Сергей Федорович Платонов и «Дело Платонова» // Советская историография. М., РГГУ, 1996. С. 215–239; Он же. Сергей Федорович Платонов (1860–1933) в кн.: Шмидт С.О. Путь историка: Избранные труды по источниковедению и историографии. М., 1997. С. 495–553. / То же в кн.: Портреты историков. Время и судьбы. Т. I. Отечественная история. М., 2000. С. 100–135; (Об этих и других работах автора о Платонове статья Д.М. Володихина «Экзистенциальные мотивы в работах С.О. Шмидта о С.Ф. Платонове» в кн.: Источниковедение и краеведение в культуре России. Сборник к 50 летию служения Сигурда Оттовича Шмидта Историко-архивному институту. М., 2000. С. 484–487.) О Платонове вышла и работа книжного типа В.С. Брачева «Русский историк Сергей Федорович Платонов (СПб., 1995) 2-е «исправленное и дополненное издание» «Русский историк С.Ф. Платонов. Ученый, педагог, человек». (СПб., 1997), неоднозначно оцененная в печати.

<sup>6</sup> Архив академика С.Ф. Платонова в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки. Каталог. Вып. 1. СПб., 1994.

<sup>7</sup> Академическое дело 1929–1931 гг. Вып. 1. Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова. СПб., 1993. С. 256–288.

<sup>8</sup> Платонов С.Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII в. как исторический источник, 2-е изд. СПб., 1913. С. XV.

Но в фундаменте всех построений Платонова – в частных и даже общей схемы в целом – всегда лежат собственно источниковедческие наблюдения. Он побуждал себя к проверке по первоисточникам даже уже осевших в сознании историков положений, сформулированных предшественниками. Задача историка – по его убеждению – не в том, чтобы «исторически» обосновать свои политические или социальные взгляды, а в том, чтобы изобразить главные моменты исторической жизни общества и сделать это с возможной объективностью. Платонов обычно сдержан в суждениях, стиль его отличается ясностью; ему чужды риторические эффекты, нарочитая «красивость».

Оставаясь во всем историком-исследователем, Платонов ощущал себя историком-просветителем, пропагандистом исторических знаний и всегда осознавал при этом, что, войдя в обиход культуры как «художественно-прагматический рассказ о достопамятных событиях и лицах»<sup>9</sup>, история и во все последующие времена сохраняла то же назначение в представлении широкой публики. Однако с развитием собственно науки истории, с совершенствованием ее методики даже в сочинениях и лекциях, рассчитанных на восприятие тех, кто не имел специальной научной подготовки, обнаруживается все больший интерес к ознакомлению с самой системой изучения прошлого – и с первоисточниками знания, и приемами их обработки (сферой науки, ныне называемой источниковедением), и с опытом размышлений о том же предшественников (сферой науки об истории исторической мысли, накоплении исторических знаний, которую теперь именуют историографией). Читатель и слушатель должны были думать вместе с автором не только о характеризующих им исторических явлениях, но и о путях познания этих явлений. И потому элементы историографии обязательны даже в его учебных лекциях. Это в методическом плане в большей мере сближает сочинения Платонова с современными научными и учебными трудами, чем сочинения великого московского историка, хотя «Курс русской истории» В.О. Ключевского остается никем не превзойденной вершиной историко-литературного (научного и художественного одновременно) мастерства. Но и Платонов как педагог-практик с опытом преподавания гимназистам и студентам, а также и как прирожденный художник слова умел вызвать образное восприятие. Свою задачу он видел в том, чтобы дать и «научно-точную», и «художественную картину». Тем более что придерживался «старинного убеждения»: «Национальная история есть путь к национальному самопознанию»<sup>10</sup>.

С.Ф. Платонов был монархистом по своему воспитанию, сторонником строгой законности на основе государственных постановлений и противником неподготовленных реформ. Историк получил доступ в высшие придворные и правительственные круги, но отнюдь не придерживался реакционных тенденций. В частности, в сфере культуры и образования. И когда ему, имевшему высокий авторитет не только ученого, но и организатора дела просвещения, Председатель Совета Министров В.Н. Коковцов предложил портфель министра народного просвещения, Платонов – как сообщили в газетах – «не возражая против предложения по существу», поставил условием возвращение уволенных в 1911 г. или «вышедших из университета в связи с этой отставкой» профессоров в Петербурге и в Москве, и «переговоры дальше не продолжались». В 1916 г., когда Платонов вышел в отставку, его намеревались вознаградить (особенно за совершенно выдающуюся деятельность в качестве создателя и руководителя Женского Педагогического института) «привычным почетным отличием: сенаторством, опекуном или креслом в Государственном совете»; спрошенный по этому поводу, он ответил: «Я ничего этого не хочу. Я хочу остаться просто русским историком Платоновым». Чувствуя, как ослабевают в предреволюционные годы дорогие ему привычные устои общественно-политической жизни, он утрачивает уважение к правящей династии. Однако Платонов по-прежнему уклоняется от активной деятельности в политической жизни.

<sup>9</sup> Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М., 1993. С. 38.

<sup>10</sup> Там же, С. 39–41.

Понятно, что провозглашенную Октябрьской революцией программу общественных преобразований Платонов принять не мог, но он не стал участвовать в политической деятельности противостоящих большевикам партий и группировок и не перешел в стан эмиграции. В тех условиях Платонов видел свой долг в том, чтобы сберечь наше культурное наследие и приобщать к нему читателей, дабы не прервались основы связи времен и жизни народа. Такого рода воззрения были характерны для немалого числа образованных интеллигентов первых послереволюционных лет – и в обеих столицах, и в провинции. Они питали, в частности, энтузиазм к работе по охране памятников истории и культуры, а также в области краеведения, развернувшейся в невиданных прежде масштабах: тогда было образовано множество новых музеев, архивов, библиотек, высших учебных заведений, просветительски-экскурсионных станций, общественных объединений<sup>11</sup>.

При этом Платонов не склонен был поступиться сложившимися прежде понятиями о ценностях духовных и даже общественно-политических. Сфера российской культуры – а значит, и творческой деятельности российской интеллигенции – оставалась для него прежней. В те годы она включала и эмигрантскую среду (к которой принадлежала к тому же семья одной из его дочерей). Следовательно, читательским кругом оставались все причастные к русскоязычной литературе – и в Стране Советов, и за рубежом, все интересующиеся российской историей. Российские эмигранты справедливо полагали (и писали о том), что историк рассчитывал и на их восприятие новых его трудов. Действительно, за рубежом сразу же появились отклики на его новые книги (причем таких видных ученых и общественных деятелей, как П.Н. Милюков, А.А. Кизеветтер, П.Б. Струве), а в русскоязычных школах диаспоры знакомились с историей России именно по его учебникам.

Психологически сотрудничество Платонова с советской властью было облегчено тем, что он сразу же нашел общий язык с первым руководителем советской архивной службы Д.Б. Рязановым – «образованным, благородным и симпатичным человеком» (слова из Автобиографии Платонова, предназначенной для напечатания в Германии, где Рязанов был хорошо известен как всемирно признанный знаток истории марксизма). Рязанов сделал Платонова своим заместителем, а после перевода правительственных учреждений в Москву Платонов стал главой управления архивами Петрограда.

В первой половине 1920-х годов Платонов воспринимался не только как виднейший ученый и преподаватель высшей школы. Показательны «личные впечатления» А.В. Луначарского, которые он формулирует «в ответ на секретное отношение Управления делами Совнаркома» от председателя Совнаркома В.И. Ленина «дать характеристики» некоторым известным деятелям культуры: «Академик Платонов – ума палата. Сейчас, кажется, избран в президенты Академии, замечательный историк правых убеждений. Несмотря на это, сразу стал работать с нами, сначала управлял архивом Наркомпроса, потом привлечен Рязановым в качестве своего помощника по управлению архивом в Петрограде, а сейчас управляет ими более или менее единолично под общим контролем М.Н. Покровского. Держится в высшей степени лояльно и корректно...»<sup>12</sup> Документ датирован 9 мая 1921 г. И не соответствовавшие действительности слухи об избрании Платонова президентом Академии – показатель того положения, которое приписывало ему тогда общественное мнение.

Эти слова наркома просвещения из «секретного» документа стали известны читателю через пятьдесят лет, а для широкого ознакомления той же весной 1921 г. была опубликована рецензия заместителя наркома Наркомпроса Покровского на книгу Платонова «Борис Годунов». О том же, какое значение придается мнению Покровского, можно было узнать незадолго

<sup>11</sup> Шмидт С.О. «Золотое десятилетие» советского краеведения // Отечество. Краеведческий альманах. Вып. 1. М., 1990. С. 16–17; Он же. Краеведение и документальные памятники. Тверь, 1992. С. 27 и сл.

<sup>12</sup> Литературное наследство. Т. 80. В.И. Ленин и А.В. Луначарский. М., 1971. С. 258.

до того из газеты «Правда», напечатавшей 9 февраля 1921 г. статью Ленина «О работе Наркомпроса», где о Покровском сказано было, что он осуществлял руководство наркоматом не только как «заместитель наркома», но и «как обязательный советник (и руководитель) по вопросам научным, по вопросам марксизма вообще»<sup>13</sup>.

Рецензия Покровского (в кн.2 журнала «Печать и революция») обвиняла Платонова в тенденциозном изложении материала, в «классобоязни», в нежелании видеть определяющую роль классовой борьбы в истории. Отмечая, что книга «в дни безумного бумажно-типографского кризиса» издана достаточно большим тиражом, Покровский, по существу, отлучает Платонова от советской науки, завершая фразой: «Буржуазия умеет издавать своих. Когда-то мы научимся?»<sup>14</sup> Тональность рецензии воинствующего идеолога новых исторических представлений, возможно, объясняется и тем, что он в книге Платонова тоже увидел то, о чем тогда же писал в рецензии пражского журнала «Русская мысль» (апрель 1922 г.) академик-эмигрант П.Б. Струве: «Роковая моральная аналогия мерзостей Смутного времени с мерзостями «великой революции» неотразимо встает перед умом читателя замечательной книги С.Ф. Платонова, и мы не можем отделаться от мысли, что эта аналогия присутствовала в его уме»<sup>15</sup>.

Для современников в 1920-е годы именно Платонов и Покровский были самыми заметными фигурами среди историков и самыми известными из них за границами СССР<sup>16</sup>. Они олицетворяли разные направления развития науки отечественной истории, разные представления о том, что и как надо изучать: по Платонову, придерживавшемуся традиционной методики, все темы, и по первоисточникам, в зависимости от их фактологической основы; по Покровскому – лишь «актуальную» тематику, преимущественно нового времени, и руководствуясь прежде всего социологическими схемами.

Еще в мае 1923 г. Покровский прочитал курс лекций по истории русской исторической науки с демонстративно подчеркиваемым названием «Борьба классов и русская историческая литература», тотчас же напечатанный. Это – лекции в Петроградском Коммунистическом университете имени Зиновьева, сходном по программе и направленности образования с Коммунистическим университетом имени Свердлова в Москве, где Покровский выступал не раз и где ему приходилось слушателей, зачастую не имевших даже школьного образования, «наспех накачивать марксизмом». В начальной лекции он сообщил, что должно изменить преподавание и на «старых факультетах общественных наук» (в университетах), «понемногу коммунизируя, и, я бы сказал, свердловизируя, и зиновьевизируя их снизу». И для этого Покровский прежде всего старался опровергнуть «ошибку многих очень авторитетных товарищей» (имеются в виду Луначарский, Рязанов и другие более объективно мыслящие ученые-коммунисты), рассуждающих так «Это установлено в науке, это – факты», и ссылающиеся при этом на труды дореволюционных историков. Между тем, по мнению Покровского, это «вовсе не факты», а «отражение фактов» в зеркале с чрезвычайно неправильной поверхностью... в умах людей сквозь призму их интересов, главным образом классовых». Ряд упоминаемых имен таких дореволюционных историков открывает имя Карамзина, а замыкает имя Платонова<sup>17</sup>.

Покровский противопоставлял национальному интернациональное, объявляя носителей национального начала в культуре шовинистами<sup>18</sup>, а понятия об общечеловеческом подменял

<sup>13</sup> Ленин В.И. Полн. собр. соч., Т. 42. С. 324.

<sup>14</sup> Покровский М.Н. Историческая наука и борьба классов (Историографические очерки, критические статьи и заметки). Вып. 2. М.-Л., 1933. С. 87–93.

<sup>15</sup> Цит. по кн.: Зайдель Г., Цвибак М. Классовый враг на историческом фронте. Тарле и Платонов. М.—Л., 1931. С. 83.

<sup>16</sup> Берендт Л.-Д. «Русская история в самом сжатом очерке» М.Н. Покровского в зарубежных переводах // Проблемы истории общественного движения и исторической науки. М., 1981. С. 178–186.

<sup>17</sup> Покровский М.Н. Борьба классов и русская историческая литература. Пд., 1923. С. 5, 8.

<sup>18</sup> Кривошеев Ю.В., Дворниченко А.Ю. Изгнание науки: российская историография в 20-х-начале 30-х годов // Отечественная история. 1994, № 3. С. 143–158.

сугубо классовыми, ориентируясь сам (и безапелляционно направляя к тому других) не на критерии общепризнанных традиционных моральных ценностей, а на требования политической конъюнктуры. Покровский – воинствующий лидер историков-марксистов противопоставил себя и своих последователей историкам «старой школы» и все более вытеснял с «исторического фронта» и с «фронта просвещения» так называемых буржуазных специалистов; слово «фронт», подразумевающее и линию разделения одних и других, и тенденцию к наступлению, тогда было особенно в ходу в партийно-государственных постановлениях и в публицистике, внедрялось в язык науки.

Платонов полагал, что его положение в мире науки и в более широкой общественной среде не позволяет ему оставаться безучастным. Свои общественные позиции ученый позднее охарактеризовал откровенно в октябре 1930 г., находясь уже в тюремном заключении. У него первоначально «являлась надежда, что страна постепенно изживет переходный период смуты» (характерно применение именно Платоновым этого термина для обозначения явлений послереволюционных лет!). Ему хотелось «ускорить... процесс оздоровления жизни» и своей работой историка, и организатора науки. При этом он «считал возможным и дозволительным открыто заявлять свои точки зрения немарксистские. Таковую свободу мнения и слова... считал допустимым». Но «наряду с впечатлениями оптимистического характера, к середине 20-х годов стали нарастать и иные»; и это побуждало к «противодействию воинствующему коммунизму»<sup>19</sup>. Признание, так именно сформулированное, можно считать и вырванным насильственно на следствии.

Но мы действительно знаем теперь о примерах публичного противостояния академика Платонова Покровскому в середине 1920-х годов. Это – «Речь» о Карамзине (к столетию со дня кончины историографа в мае 1926 г.) и книга о Петре I. Платонов во многом повторил свою же речь 1911 г. при открытии памятника Карамзину в подмосковном имении графа С.Д. Шереметева Остафьево. Он написал речь 1926 г. не столько о Карамзине-историке, сколько о том, «как честно следует работать историку», подчеркивая особо непреходящее значение «нравственного критерия», которым руководствовался историограф, и то, «что всегда во всех поколениях и странах писатели и ученые получают свою оценку в соответствии с моральной их физиономией, независимо от того, открыта она или нет». Эти положения намеренно выделены в заключительной части «Речи»<sup>20</sup>.

В изданной в том же 1926 г. книге «Петр Великий. Личность и деятельность» обнаруживается прямая взаимосвязь с «Речью»: сходство и поводов к написанию (юбилейная дата), и основной тенденции – противостоять новой точке зрения (неосновательной, по мнению автора, но все шире распространяющейся), и в то же время закрепить в сознании читателей уважение к достигнутым уже прежде выводам науки. Уподобляя себя знаменитому историку рубежа XVIII–XIX веков Шлецеру, Платонов, цитируя его, прямо пишет о плачевном упадке «науки российской истории» за прошедшее десятилетие. И конечно, не случайно он напомнил в книге о Петре I о непреходящем значении суждения Карамзина о том, что «изменять народные нравы можно лишь постепенно»<sup>21</sup>.

Покровский не только препятствовал изданию книги Платонова о Петре I<sup>22</sup>, но вскоре, в 1927 г., написал не подлежавшую тогда оглашению Записку о необходимости реорганизовать работу Академии наук, особенно Отделения гуманитарных наук, «или вовсе его прикрыть». Там выпады и против руководимых академиком Платоновым научных учреждений, и лично против него: «такая просветительская деятельность», как устройство юбилея Карамзина, объ-

<sup>19</sup> Академическое дело 1929–1931 гг. Вып. 1. С. 200–201.

<sup>20</sup> Неизданная статья С.Ф. Платонова. Подг. А.Н. Артизов и Б.Н. Левшин. // Отечественные архивы. 1993. № 2.

<sup>21</sup> Платонов С.Ф. Петр Великий. Л., 1926. С. 17–18.

<sup>22</sup> Подробнее: Шмидт С.О. Доклад С.Ф. Платонова о Карамзине... С. 59–60, 75.

является «вредной» и резко подчеркивается, что в деятельности Академии наук, «помимо просто обветшавшего, есть злостно обветшавшее»<sup>23</sup>.

В последующее время Платонов, поддерживаемый Рязановым (которого, как и Покровского, избрали затем академиком в январе 1929 г.), выдвинул план образования в системе Академии наук исторического научно-исследовательского института. «Для такого института, – писал он, – Археографическая комиссия является готовой ячейкой, от которой может идти дальнейшая организационная работа в построении научного учреждения по технике исторического ведения независимо от вопросов идеологических, для разработки которых СССР имеет уже не одно учреждение»<sup>24</sup>.

Покровский старался энергично противодействовать этому. И хотя ему не удалось разрушить традиционную практику работы Отделения гуманитарных наук, возглавляемого Платоновым (в этом намерении Покровского не поддержали новоизбранные вместе с ним академики-коммунисты – не только Д.Б. Рязанов, но и Н.И. Бухарин и Г.М. Кржижановский), но сумел добиться решения Политбюро ЦК партии «не разворачивать на данной стадии организации гуманитарных институтов» в Академии наук и сам тотчас же организовал Институт истории в возглавляемой им же Коммунистической академии.

Весной же 1929 г. началась интенсивная подготовка к разгрому учреждений гуманитарного отделения Академии наук. Это была составная часть характерной политики года «великого перелома», когда трудности жизни объяснялись обострением классовой борьбы в стране, усилившимся сопротивлением врагов социализма. В июне 1930 г. в докладе на XVI партсъезде среди враждебных сил старого мира Сталин выделил и «верхушку буржуазной интеллигенции».

Поздней осенью 1929 г. произошли первые аресты ученых из ближайшего окружения Платонова, в январе 1930 г. арестовали и самого академика. Арестована была большая группа ленинградских и московских историков, потом и провинциальных. Полному разгрому подверглось историко-культурное краеведение. Против Платонова сначала было сфабриковано обвинение в сознательном утаивании исторических документов большой государственно-политической важности, а затем в руководстве антисоветским монархическим заговором.

Данные о творческой деятельности Платонова в годы советской власти показывают, что она была и интенсивной, и многообразной. Историк, сознательно следуя демократическим обычаям российской профессуры, знакомил со своими новыми изысканиями, с достижениями исследовательской мысли преимущественно в сочинениях научно-популярной формы; и книги его сразу же находили отклик в советской и в зарубежной печати, тем самым обретая в 1920-е годы знаменательное общественное звучание. Они, продолжая традиционную для дореволюционной исторической науки линию развития, противостояли торжеству вульгарной социологии, насаждаемой Покровским и его школой. Еще в большей мере такое противостояние и забота о будущем нашей исторической науки, о судьбе нашего культурного наследия заметны в научно-организационной деятельности академика Платонова послереволюционных лет. Поэтому данные о такой деятельности и восприятии ее современниками важны и в плане изучения истории сопротивления российской интеллигенции навязываемым ей официальной идеологии и системе поведения, защиты ею достоинства науки и интеллигента.

Платонова всегда отличала особая чуткость к современным общественным веяниям и способность быстро распознавать темы, привлекательные для широкой публики и уже тем самым находящиеся в русле воздействия на общественное сознание. Самому ученому особенно интересным казалось то, что ныне называют менталитетом и относят к сфере историче-

---

<sup>23</sup> Покровский М.Н. К отчету о деятельности Академии наук за 1926 год. Публ. М. Юрьевой и Д. Рейзлина // Звенья. Исторический альманах. Вып. 2. М.-СПб., 1992. С. 586, 588–589, 592.

<sup>24</sup> Иванова Л.В. Археографическая комиссия 1917–1931 гг. // Проблемы истории общественного движения и историографии. М., 1971. С. 416–417; Шмидт С.О. Доклад С.Ф. Платонова... С. 69–72.

ской психологии. Еще в конце прошлого столетия в предисловии к сразу сделавшей его знаменитым докторской диссертации – «Очерки по истории Смуты» – ученый сам отметил, что сосредотачивает «все свое внимание на изображении деятельности руководивших общественной жизнью кружков и на характеристике массовых движений в Смутное время»<sup>25</sup>. А в Автобиографии Платонов писал, что «характеристики исторических лиц вообще составляли мою слабость»<sup>26</sup>.

Он действительно выступает мастером исторического портрета – людей далеких XVI–XVIII веков, своих учителей университетских лет. При этом образ человека у него всегда и образ эпохи: его галерея исторических лиц – государей России XVI–XVIII столетий – становится широкой, ясной картиной всего Московского царства и первого века Российской империи.

В данном издании собраны книги и статьи разных лет. Пожилой историк, согласно выработанной еще в молодые годы системе, продолжал писать с такой же научной независимостью, даже в той же литературной манере, с умелым вкраплением в ученый текст терминов и словосочетаний живописуемой эпохи, в то же время – с учетом самоновейшей литературы. Потому объединенные в одной книге труды Платонова отличаются единством системы терминологии и литературной стилистики. Они оказываются очень удобными для использования при преподавании истории и всегда захватывающе интересным чтением.

В последние годы мы все больше убеждаемся в том, что Сергей Федорович Платонов прочно вошел в плеяду классиков науки отечественной истории – вслед за В.Н. Татищевым, Н.М. Карамзиным, С.М. Соловьевым, И.Е. Забелиным, В.О. Ключевским.

Председатель Археографической комиссии Российской академии наук, Академик Российской академии образования

С.О. Шмидт

---

<sup>25</sup> Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве. 5-е изд. М, 1995. С. 5.

<sup>26</sup> Академическое дело 1929–1931 гг. Вып.1. С. 281.

## Иван Грозный

*Первое условие для сколько-нибудь верной оценки исторического деятеля – это отрешиться от тенденциозности, второе – понять век, в котором он жил и действовал.*

*Г.В. Форстен*

### Вступление Грозный в русской историографии

Для подробного обзора всего того, что написано о Грозном историками и поэтами, потребна целая книга. От «Истории Российской» князя Михайлы Щербатова (1789 год) до труда РЮ. Виппера «Иван Грозный» (1922 год) понимание Грозного и его эпохи пережило ряд этапов и пришло к существенному успеху. Можно сказать, что этот успех – одна из блестящих страниц в истории нашей науки, одна из решительных побед научного метода. Автор надеется, что последующие строки достаточно раскроют эту мысль.

Главная трудность изучения эпохи Грозного и его личного характера и значения не в том, что данная эпоха и ее центральное лицо сложны, а в том, что для этого изучения очень мало материала. Бури Смутного времени и знаменитый пожар Москвы 1626 года истребили московские архивы и вообще бумажную старину настолько, что события XVI века приходится изучать по случайным остаткам и обрывкам материала. Люди, не посвященные в условия исторической работы, вероятно, удивятся, если им сказать, что биография Грозного не возможна, что о нем самом мы знаем чрезвычайно мало. Биографии и характеристики Петра Великого и его отца царя Алексея возможны потому, что от этих интересных людей остались их рукописи: деловые бумаги, заметки, переписка, словом, – их архив. От Грозного ничего такого не дошло. Мы не знаем его почерка, не имеем ни клочка бумаги, им самим написанного. Все старания известного археографа Н.П. Лихачева найти такой клочок и определить хотя бы строчку автографа Грозного не привели ни к чему. Осторожный исследователь ограничился тем, что опубликовал две кратких надписи, «не делая предположений» (как он выразился), но давая понять, что в одной из них он готов допустить факсимиле почерка Грозного<sup>27</sup>. Тексты тех литературных произведений, которые приписываются Грозному, дошли до нас в копиях, а не в автографах, и мы не можем восстановить в них точного авторского текста. Знаменитое «послание» царя Иоанна к князю Андрею Курбскому 1564 года имеется в разных редакциях и во многих списках с существенными разночтениями, и мы не знаем точно, какую редакцию и какое чтение надлежит считать подлинными. То же можно сказать и о всех прочих «сочинениях» Грозного. Даже официальный документ – «Завещание» Грозного (1572 год) – не сохранился в подлиннике, а напечатан с неполной и неисправной копии XVIII столетия. Если бы нашелся ученый скептик, который начал бы утверждать, что все «сочинения» Грозного подложны, с ним было бы трудно спорить. Пришлось бы прибегать ко внутренним доказательствам авторства Грозного, ибо документальным способом удостовериться его нельзя. Исключением является только переписка Грозного с одним из его любимцев Василием Григорьевичем Грязным-Ильиным. Грязной попал в плен к крымским татарам, и по делу о выкупе Грозный «милостиво» вступил с ним в переписку. Тексты писем царя и Грязного внесены были в свое время в официальную книгу «Крымских дел» и потому могут рассматриваться как документ, как точная заверенная

---

<sup>27</sup> Лихачев Н.П. Дело о приезде в Москву Антония Поссевина. СПб., 1893. С. 60, таблица IV. (СПб., 1903.)

копия переписки. Этим самым переписка царя с Грозным получает особенную историческую важность, правильно определенную последним ее исследователем П.А. Садиковым.

Если так обстоит дело с личными сочинениями и письмами Грозного, то немногим лучше положение и всего летописного материала того времени. Московское летописание в XVI веке стало делом официальным, и летописи поэтому сдержанны и тенденциозны. Казенные летописатели, пользуясь частными летописными записями, или обезличивали их, или же переделывали на свой лад. Излагая по-своему происходящие события, они держались строго правительственной точки зрения. Много следов мелочной переработки летописей в духе Грозного царя можно видеть в так называемом «Лицевом своде». В XIII томе «Полного собрания русских летописей» дано несколько снимков со страниц этого свода, переделанных и дополненных, по видимому, по указаниям самого Грозного. Понятно, что пользоваться такого рода источником историк должен крайне осмотрительно: иначе он станет жертвою одностороннего понимания событий. Но такая же опасность грозит ему и с другой стороны. Царь и его казенные летописцы излагали московские дела по-своему, но по-своему же их изображали и политические противники Грозного.

Пресловутый князь А.М. Курбский, убежавший от московского террора в Литву, там написал свою «Историю о великом князе Московском». Это очень умный памфлет, направленный на обработку общественного мнения в Литве. В нем много ценного и точного исторического содержания, и потому все тенденциозные выходки Курбского против Грозного получают особую силу. Но все-таки это памфлет, а не история, и верить его автору на слово нельзя. Еще в большей степени пристрастны иностранные сказания о Грозном. Их наиболее ярким образцом можно счесть «послание» лифляндцев Таубе и Крузе о «великого князя Московского неслыханной тирании». Даже сдержанный Флетчер, ученый англичанин, бывший в Москве лет пять спустя после кончины Грозного, не избег общего настроения: к памяти московского тирана он относится беспокойно, приписывая личной вине Грозного все неурядицы московской жизни того времени.

Историк, вращаясь в круге подобных летописных известий и литературных сказаний, современных Грозному, должен ко всем данным своих источников относиться с сугубою осторожностью и учитывать возможность не только простой субъективности, но и страстной тенденции в каждом изучаемом памятнике. Для него нет твердой почвы и в произведениях тогдашней литературной письменности. Время жгучей борьбы, политической и социальной, налагало свою печать на все: литературный интерес современников Грозного был направлен на болевые темы переживаемого момента. Но младенческое состояние политической мысли не позволяло твердо и четко понять и обсудить эти темы, и в разного рода «беседах», «посланиях», «изветах», «челобитных» и «сказаниях» того времени исследователь напрасно ищет определенных идей и программ. Он находит лишь смутный лепет и неясные намеки на действительность, намеки непонятные и испорченные к тому же невежеством переписчиков. Литература эпохи, так же, как собственно исторические источники, дает историку очень мало не только толкований, но и просто объективных фактов для того, чтобы он сам мог создать толкование эпохи.

При таком состоянии исторического материала, конечно, невозможно составить серьезную, фактически полную биографию Грозного. Стоит дать себе труд припомнить, что и за какие годы жизни Грозного знаем мы о нем. Такое припоминание покажет, что за целые ряды лет у нас нет лично о Грозном никаких данных. Так, например, о первых годах его жизни не имеется никаких сведений, кроме трех-четырёх упоминаний в письмах (1530–1533 годы) его отца великого князя Василия к его матери Елене Васильевне. Великий князь был в отъезде и беспокоился о здоровье своего первенца, «что против пятницы Иван сын покрячел»: именно «у сына у Ивана явилось на шее под затылком место высоко да крепко». Простой веред у малютки прошел благополучно, и затем до его 13-летнего возраста ни о его здоровье,

ни о жизни вообще ничего не известно. В конце 1543 года тринадцатилетний государь-сирота впервые показал свой нрав – арестовал одного из виднейших бояр, князя Андрея Шуйского, и «велел его предати псарем, и псари взяша и убита его». «И от тех мест (замечает летопись) начали бояре от государя страх имети». До 1547 года, однако, ничего не известно о дальнейших поступках юноши – великого князя. В 1547 году Грозный женился и сменил титул великого князя на титул царя. Затем до 1549 года опять темный промежуток. В 1549–1552 годах Грозный законодательствует и воюет; в 1553 году болеет тяжело и ссорится со своими боярами; и «от того времени бысть вражда промеж государя и людей». Вторая половина 50-х годов опять темна: о личной жизни Грозного не знаем; знаем кое-что лишь о его политике относительно Ливонии, о начале войны. В 1560 году умерла первая жена Грозного; в нем самом совершилась какая-то перемена настроения. Дальнейшая эпоха полна рассказов о его зверствах, о терроре опричнины. Рассказывают почти исключительно иностранцы и Курбский. Русские источники молчат, ограничиваясь краткими замечаниями вроде того, что в 1574 году «казнил царь на Москве, у Пречистой на площади в Кремле, многих бояр, архимандрита Чудовского, протопопа и всяких чинов людей много, а головы метали под двор Мстиславского». Но все эти рассказы и замечания противоречивы и малоопределенны, датируются с трудом и возбуждают много недоразумений, о которых можно читать и у Карамзина, и у позднейших историков. А документов мало: даже указ об учреждении опричнины не дошел до нас в подлинном виде. Ни точной хронологии, ни достоверного фактического рассказа о деятельности и личной жизни Грозного построить нельзя. Перед историком проходят целые вереницы лет без единого достоверного упоминания о самом Грозном. Какая «биография» тут возможна? И где тот материал, на котором было бы можно построить правильную «характеристику». В данных условиях мыслимы только догадки, более или менее вероподобные, более или менее соответствующие указаниям уцелевшего скудного материала.

Историк XVIII века князь М.М. Щербатов в своей «Истории Российской», «прошед историю сего государя», вынес впечатление, что Грозный «в столь разных видах представляется, что часто не единым человеком является». Порабощенный противоречиями своих источников, историк перенес их на характер своего героя. Он не удержался от того, чтобы не объяснить эти противоречия путем догадок и умозаключений, и попытался указать некоторые личные свойства Грозного. Не без остроумия замечал он о Грозном, что «в ком самовластие, соединенное с робостью и низостью духа находится, в том обыкновенно оно производит следствия непомерной горячности, недоверчивости и сурового мщения». Дальше этого Щербатов не шел. Указанные недостатки Грозного он противопоставил его «проницательному и дальновидному разуму» и в этом видел внутреннее противоречие и двойственность характера Грозного.

Тот же взгляд на Грозного, но с большим литературным искусством выразил Карамзин в своей «Истории государства Российского». Подходя к описанию времени Грозного, Карамзин предвкушал прелесть предстоявшей темы: «Какой славный характер для исторической живописи!» – писал он Тургеневу о Грозном. Мрачная драма той эпохи казалась Карамзину литературно-занимательной, и он изобразил ее с большим художественным эффектом. Но характера Грозного он не уловил так же, как Щербатов, хотя и пытался обнять его «умозрением». «Несмотря на все умозрительные изъяснения (писал он в своей «Истории»), характер Иоанна, героя добродетели в юности, неистового кровопийцы в летах, мужества в старости, есть для ума загадка».

Карамзин пытался разъяснить эту загадку, следуя тому толкованию Курбского, что Грозный всегда был умственно несамостоятелен и подчинялся посторонним влияниям. Он был добродетелен, когда «опирался на чету избранных – Сильвестра и Адашева», и нравственно пал, когда приблизил к себе развратных любимцев. Он представлял в себе «смесь добра и зла» и совмещал, казалось бы, несовместимые качества: «разум превосходный», «редкую память» с жестокостью «тигра» и с «бесстыдным раболепством гнуснейшим похотям». Постоянно уда-

ряя в своих отзывах на противоречия природы Грозного, Карамзин, однако, не давал, так сказать, ключа к объяснению этих противоречий и оставлял неразгаданною свою для ума загадку. Образ несамостоятельного, подверженного влияниям монарха был бы целостным, если бы Карамзин допустил в своем умозрении умственное ничтожество Грозного. Но он этого не мог допустить, ибо Грозный всегда ему являлся «призраком великого монарха», «деятельным», «неутомимым» и «часто проницательным...»

«Загадка» Карамзина была изложена им замечательно картинно и красноречиво. Эпоха Грозного ожила под его искусным пером и читалась с большим увлечением. Естественно было попытаться на материале, данном в «Истории» Карамзина, построить более удачное и тонкое изображение личности Грозного, чем то, какое дал сам Карамзин. И такую попытку сделали московские славянофилы, обсуждавшие характер Грозного, по-видимому, всем своим кружком. То, что созрело в их суждениях, было вынесено в печать К. Аксаковым и Ю. Самариним. Последний в своем труде о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче в нескольких словах дал указание, что «тайна (Иоанна) лежит в его собственном духе: чудно совмещались в нем живое сознание всех недостатков, пороков и порчи того века с каким-то бессилием и непостоянством воли». Это «страшное противоречие» в Грозном его умственного превосходства со слабостью воли есть основное его свойство, объясняющее весь характер.

Аксаков полнее судил о Грозном, стоя на той же точке зрения, как и Самарин. «Отсутствие воли и необузданная воля – это все равно», – говорит он по поводу Грозного, указывая, что «порча в Иоанне» и его нравственное падение произошли тогда, когда он «сбросил с себя нравственную узду стыда» и ударился в произвол, открыв дорогу дурным на себя влияниям. Ослабление воли в сочетании с силою острого ума – одно из основных свойств Грозного. Но столь же основною была и еще одна черта. «Иоанн IV был природа художественная в жизни», – говорит Аксаков. Образы и картины господствовали над душою Грозного, влекли его своей красотой, заставляли его осуществлять их в жизни, любоваться ими. Не трезвая мысль, а поиски красоты, «художественность» владела Грозным и увлекала его к самым диким и к самым низким поступкам. Таким образом, в Грозном «много было двигателей его духа», осложнивших его духовную природу.

Эти попытки славянофильского кружка развить карамзинский взгляд и сделать его более цельным положили начало длинному ряду художественных воспроизведений характера Грозного. За славянофилами, между прочим, пошел Костомаров, обращавшийся к Грозному не один раз в своих популярных произведениях. За ними же следовал граф Алексей Толстой в «Князе Серебряном» и «Смерти Иоанна Грозного». Представление, созданное ими, стало ходячим. И когда Антокольский, Репин и Васнецов воплотили этот взгляд в определенную фигуру, всем стало казаться, что Грозный понятен и ясен, что в нем все доступно психологу и патологу. Чрезвычайная утонченная жестокость Грозного, изменчивость его настроений, соединение острого ума с явною слабостью воли и склонностью поддаваться посторонним влияниям – все эти усвоенные Грозным свойства манили к себе именно патологов, – и вот понемногу создавалась значительная врачебная литература о Грозном. Она внимательно изучена и характеризуется Н.П. Лихачевым<sup>28</sup>. Историк, обладающему научным критическим методом, вся эта литература кажется ненаучной, диагнозы – произвольными и построенными на смелых и совершенно беспочвенных догадках. Нет оснований верить медикам, когда они через триста лет по смерти пациента, по непроверенным слухам и мнениям, определяют у него «паранойю» (однопредметное помешательство), «дегенеративную психопатию», «неистовое умопомешательство» (*mania furibunda*), «бредовые идеи» и в общем ведут нас к тому, чтобы признать Грозного больным и совершенно невменяемым человеком. Такой вывод – естественный финал для того научно-литературного направления, которое в изучении эпохи Грозного ограничи-

<sup>28</sup> Там же. С. 62 и след.

вает свой интерес центральной личностью и в характере лица ищет ключ к разумению исторического момента во всей его сложности. Человек вообще склонен объявить то, что ему непонятно, не имеющим смысла, и то, что ему кажется странным, считать за ненормальное. Отдавая дань этой человеческой слабости, Костомаров писал о Грозном, что «Грозный не был безусловно глуп», тогда как современники почитали Грозного «мужем чудного разума». Медики сочли Грозного помешанным выродком, тогда как современные ему политики считали его крупной политической силой даже в самые последние годы его жизни. Здравый исторический метод ищет терпеливо разгадки того, что непонятно, и объяснения того, что странно, не решаясь на скорые бесповоротные заключения, а отыскивая новые пути к познанию явлений, не сразу поддающихся исследованию.

С правильным историческим методом впервые познакомили русскую публику представители так называемой «историко-юридической» школы – и во главе их С.М. Соловьев. К деятельности Грозного он подошел со своею основною мыслью, что историческая жизнь русского народа представляет собою цельный процесс развития патриархального быта в государственные формы. Ему хотелось определить, какова роль Грозного в этом процессе. И Грозный представился Соловьеву положительным деятелем, носителем государственного «начала» в жизни его народа и противником отживавшего уклада «удельно-вечевого». Задачи своего времени Грозный разумел лучше современных ему консерваторов; он стремился вперед, когда окружавшая его среда еще дышала старой традицией. У него была государственная программа и широкие политические цели. Нет нужды скрывать личные слабости, недостатки и пороки Грозного, но надо помнить, что не ими определяется его историческое значение. Внутренние реформы и внешняя политика Грозного делают его крупным историческим лицом, и иначе понимать его историк не может. Точка зрения Соловьева была принята всею его школой. Она была даже доведена до крайней, фальшивой идеализации Грозного в статье современника Соловьева К.Д. Кавелина, который представлял Грозного «великим», считал его предтечею Петра Великого и с сокрушением указывал на то, что Грозного погубила его среда – «тупая», «бессмысленная», «равнодушная и безучастная», лишенная «всяких духовных интересов». «Великие замыслы» Грозного были извращены в бесплодной борьбе с этою средою, и сам он пал морально от своей роковой неудачи. Конечно, гиперболы Кавелина не были усвоены всею школою историков-юристов, но мысль о том, что можно сопоставлять Грозного с Петром Великим, получила дальнейшее развитие. К.Н. Бестужев-Рюмин в обстоятельной статье «Несколько слов по поводу поэтических воспроизведений характера Ивана Грозного» решительно предложил это сопоставление и провел параллель между «двумя нашими великими историческими лицами: Петром Великим и Иоанном Васильевичем Грозным». По представлению Бестужева-Рюмина, это – «два человека с одинаковым характером, с одинаковыми целями, с одинаковыми почти средствами для достижения их». Главное различие в том, что один успел в своих стремлениях, а другой не успел. На внешней политике обоих строит Бестужев свою параллель, и главным образом на стремлении их к Балтийскому морю. Личные свойства и пороки Грозного мало занимают Бестужева, как и других историков этого направления: об этих свойствах надлежит упомянуть, но не должно на них строить изображение эпохи и оценку ее центрального лица.

Так к 80-м годам прошедшего столетия определились два способа отношения к Грозному, две манеры его оценок. Дальнейшее развитие историографии не упразднило ни одной из них, но, очевидно, дало торжество той, которая, пренебрегая целями личной характеристики, стремилась оценить Грозного как деятеля, как политическую силу.

Научный метод историко-юридической школы оказал могучее влияние на развитие науки русской истории. Труды русских историков стали расти и количественно, и качественно. Началась деятельная разработка архивных материалов, главным образом эпохи Московского государства. В последние десятилетия XIX века и в начале XX века был поставлен и научно разработан ряд тем, относящихся, в частности, ко времени Ивана Грозного. Темы эти стави-

лись совершенно независимо от личных оценок самого Грозного. Они имели целью проникнуть в разумение правительственного механизма и общественного строя Москвы XVI века и создать ясное представление о том внутреннем кризисе, какой переживало тогда Великоорусье в глубинах народной жизни. Успех этой научной работы был очень велик. Были изучены главные исторические источники эпохи – летописные своды, писцовый материал и актовый материал, уцелевший от пожаров и иных катастроф. Обозначилась постепенность и выяснились взаимная связь и результаты пресловутых «земских реформ» 1550-х годов. Вскрыта была финансовая система московского правительства XVI века. Определен был истинный характер опричнины. Была изучена деятельность московской власти по обороне южных границ государства в связи с колонизацией «дикого поля». Стали ясны состав, устройство и быт служилого класса. Выяснено было многое в процессе прикрепления крестьянства и в развитии различных видов холопства. Раскрылся в своих истинных размерах разброд населения и его последствие – запустение государственного центра. С другой стороны, был изучен «Балтийский вопрос» и все перипетии международной борьбы за Ливонию и Финское побережье. Историческое содержание эпохи стало настолько полнее и определеннее, что, можно сказать, все построение истории Ивана Грозного надлежало ставить заново. Можно удивляться тому громадному различию, какое на пространстве всего лишь одного поколения оказалось в университетском изложении этой эпохи. Как мало мог дать слушателям лектор конца (или, точнее, 70-80-х годов) XIX века об Иване Грозном, можно видеть в «Русской истории» К.Н. Бестужева-Рюмина, который был для своего времени первоклассным профессором. Как сравнительно много дается теперь, можно видеть из любого профессорского учебника русской истории и, конечно, из «Курса» В.О. Ключевского. Эпоха наполнилась новым и богатым содержанием – и это не могло не отразиться на понимании самого Грозного, его личной роли, его личных сил.

Теперь нет ни малейшего сомнения в том, что Грозный принадлежал к числу образованнейших людей своего века, получив свои знания и образовав умственные интересы в кружке митрополита Макария. Нет сомнения в том, что реформы 50-х годов XVI века представляли собою систему мероприятий, охвативших многие стороны московской ЖИЗНИ: местное управление в связи с различными формами самоуправления и с упорядочением служилого класса и поместного землевладения; податную организацию в связи с лучшим обеспечением служилых людей и с улучшением самой их службы; военное устройство, церковно-общественную жизнь, книжное дело и многое другое. Нет теперь спора о том, что Ливонская война Грозного была своевременным вмешательством Москвы в первостепенной важности международную борьбу за право пользования морскими путями Балтики. Упразднился старый взгляд на опричнину как на бессмысленную затею полоумного тирана. В ней видят применение к крупной земельной московской аристократии того «вывода», который московская власть обычно применяла к командующим классам покоренных земель. Вывод крупных землевладельцев с их «вотчин» сопровождался дроблением их владений и передачей земли в условное пользование мелкого служилого люда. Этим уничтожалась старая знать и укреплялся новый социальный слой «детей боярских», опричных слуг великого государя. Обнаружилась далее любопытная и важная черта в деятельности московского правительства в самую мрачную и темную пору жизни Грозного – в годы его политических неудач и внутреннего террора. Это – забота об укреплении южной границы государства и заселении «дикого поля». Под давлением многих причин правительство Грозного начало ряд согласованных мер по обороне своей южной окраины и как всегда проявило широкий почин, деловую энергию и умение согласовать усилия администрации с содействием земских сил. Вместо старых представлений о последних годах жизни Грозного как о времени унылого бездействия и безумной жестокости пред историками развернулась картина обычной для Грозного широкой деятельности. Наконец, выяснение причин и проявлений социального кризиса, вызвавшего опустошение московского центра к 80-м годам XVI века, сняло лично с Грозного обвинение в том, что он по своей будто бы трусости и

ничтожеству дал торжествовать над собою талантливому врагу Стефану Баторию. Выяснилось, что быстро развернувшийся кризис лишил Грозного всяких средств для продолжения борьбы и что его личное воздействие на ход событий вряд ли здесь допустимо.

Словом, всякий частичный успех в исследовании эпохи вел к тому, что личность Грозного как политика и правителя вырастала и вопрос о его личных свойствах и недостатках терял свою важность для общей характеристики его времени. Изучение правительственной деятельности Грозного развернуло перед историками широкую и сложную картину с одними и теми же чертами для начала и для конца царствования Грозного. Вокруг Грозного менялись лица и могли меняться их влияния, сам Грозный мог жить добродетельно или порочно – все равно свойства московской политики оставались при нем одинаковыми. Это была политика большого размаха, отмеченная всегда отважным почином, широтой замыслов и энергией выполнения задуманных мер. Очевидно, что эти черты вносились в жизнь самим Грозным; они не приходили с Сильвестром и не уходили с Басмановым и Малютой Скуратовым. И Грозный во втором периоде своих реформ, в опричной ломке аграрно-классового строя, совершенно тот же, как и в первом периоде церковно-земских преобразований. Он – крупная политическая сила.

Именно это впечатление вырастает в каждом, кто знакомится с новыми исследованиями по истории русского XVI века во всей их совокупности. С таким именно впечатлением приступил к своему труду об Иване Грозном и последний его историк профессор Р.Ю. Виппер. Но, воспользовавшись всем тем, что дала ему новая русская историография, он со своей стороны внес и нечто свое. Он дал в начале своего труда общую характеристику «XVI века» как поворотного момента в вековой борьбе «кочевой Азии» и «европейцев», момента, когда успех в мировой борьбе стал переходить на сторону последних. С этой всемирно-исторической точки зрения профессор Виппер представил оценку как московской политики XVI века, так, в частности, и самого Грозного. «Среди нового политического мира Европы (говорит он) московскому правительству приходилось развернуть не только военно-административные таланты, но также мастерство в кабинетной борьбе. Грозный-царь, его сотрудники и ученики с достоинством выдержали свою трудную роль». Следя за деятельностью Москвы XVI века в связи с общим ходом политической жизни Европы и Азии, наш автор не скупится на похвалы русскому политическому и военному искусству того времени и смотрит на Грозного как на крупнейшего исторического деятеля. Книгу профессора Виппера можно назвать не только апологией Грозного, но его апофеозом. Выведенный из рамок национальной истории на всемирную арену, Грозный показался и на ней весьма крупным деятелем.

Таково последнее слово нашей исторической литературы о Грозном. Думаем, что оно навсегда упразднило возможность презрительного отношения к личности Грозного. Но быть может, оно несколько перетянуло весы в другую сторону, и дальнейшая задача исследователей – найти точное равновесие между крайностями субъективных оценок.

Предлагаемый очерк отнюдь не претендует на эту роль суперарбитра в суждениях о Грозном. Его целью было дать такой «образ» Грозного, какой сложился в уме автора при знакомстве с наиболее характерным историческим материалом данной эпохи. В кратком очерке о многом пришлось говорить бегло, иногда же и просто умалчивать. Но автор будет удовлетворен, если из его очерка читатель вынесет определенное представление о главных моментах жизни и деятельности Грозного и о некоторых бесспорных, достоверных чертах его характера и ума. Цельную же характеристику Грозного, его законченный «образ» воссоздать автор не надеялся, ибо не верит в то, чтобы это сделать было вообще возможно.

## Глава первая Воспитание Грозного

### 1. Общие условия эпохи

Грозному пришлось жить и действовать в один из важных периодов бытия великорусского племени. Судьба бросила это племя на волнистую равнину, покрытую лесами и изрезанную реками, пустынную и легкодоступную для заселения. Поселенцы свободно растекались на этой равнине, как растекается вода на гладкой поверхности. Общий процесс колонизации переносил народную массу с запада и юга на север и восток, от старых Днепровских гнезд русского славянства к Поморью и к Уральским горам. На пути к северу препятствиями были только лесные пустыни «волока» – водораздела между Волжскими и Поморскими реками, где леса и болота одолевали людскую энергию. На пути же к востоку препятствовал движению инородческий мир – народцы, вошедшие в состав татарского Казанского царства, главным образом черемисы на реках Унже и Ветлуге и мордва на реке Суре. Идущая с севера на юг линия рек Ветлуги и Суры долго служила восточным пределом русской колонизации, шедшей из Владимиро-Суздальского центра, точно также, как линия Белоозера и Вологды была ее северным пределом. Далее на север, в «Заволочье», простиралась область колонизации новгородской, имевшей иной характер, чем колонизация среднерусская. В отличие от подвижного промышленника и хищника новгородца, владимирцы и суздальцы, крестьяне и монахи, медленно и прочно осваивали «новую землю» и не спеша переносили с одной заимки на другую свою пашню или подсобный лесной промысел, оставляя выпаханную «пустошь» ради нового «починка».

Тот момент, когда волна колонизации докатилась до своих преград и безудержный разлив населения был ими несколько сдержан, тот момент оказался существенным переломом не только в хозяйственной, но и в политической жизни страны. При текущем (как выразился С.М. Соловьев) состоянии населения политическая власть не имела силы сдержать и прикрепить к месту народную массу, организовать ее в своих целях и видах и подчинить своей воле. Удельные князья поневоле ставили свое хозяйство и администрацию в зависимость от бродячести населения. Прибыль «приходцев» на их земли делала их сильными и богатыми; убыль отнимала у них их политическое значение и делала их «худыми». Перелив населения с Клязьмы на Волжские верховья после Батыева погрома ослабил Владимир и Суздаль и поднял Тверь и Москву. Накопление народа в Галиче Морском, на плоскогорье между реками Костромой и Унжею, позволило галицким князьям в XV веке встать против Москвы и выдержать долгую и упорную с нею борьбу за главенство в Восточном Великорусье. Эта зависимость князей от случайностей колонизационного движения ослабла тогда, когда движение масс было временно остановлено на рубежах Поморья и Понизовья. Природные трудности дикого лесистого волока и сопротивление новгородцев не пускали на север; черемисская война не пускала на восток. В массе своей в XV веке пашня стала устойчивой, и пахари осели в своих волостях крепче, чем прежде. Московские великие князья получили поэтому некоторую возможность учесть население и начали крепить его к тому или иному роду государственных повинностей. Вторая половина XV и первая половина XVI столетия характеризуется именно этой работой прикрепления. Московские князья, захватившие под свою власть всю Низовскую землю и покорившие Великий Новгород, спешат и там и здесь «описать» свои владения, водворить на «поместья» тысячи служилых помещиков «детей боярских», закрепить за ними в поместьях крестьянское население, а на свободных крестьянских землях образовать за круговой порукою податные общины, которые бы из-за себя тягловцев не выпускали. Одновременно и в высших социальных

слоях шла такая же работа по закреплению за государем его «вольных» слуг. Лишались своих исконных вольностей и прав не только бояре, потерявшие возможность «отъехать» от московского государя к иному владельцу, но и удельные владетельные князья, поддавшиеся Москве и «бившие челом в службу волею» московским государям. Эти «княжата» были все более и более стесняемы в праве распоряжения своими удельными землями, «вотчинами», были сравнены в порядке службы с простыми боярами и, так же как бояре, лишены возможности уйти с московской службы и снять с себя московское подданство. Вся московская жизнь стала строиться на идее государственной «крепости»: одних она прикрепляла к государевой службе, которую отбывали с земли; других прикрепляла к «тяглу», которое «тянули» тоже с земли. Одни служили или с вотчин (наследственных земель), или с поместий (казенного надела); другие платили или с «пашни паханные земли доброй или средней или худой», или же с двора на «посаде» и с лавки на «торгу».

Грозный родился именно в это время торжества нового государственного строя, когда исчезла самостоятельность уделов, когда Новгород и Псков утратили последнюю тень своей политической особенности, когда московский великий князь на деле стал «всея Русские земли государям государь», когда, наконец, все население объединенной страны стало сознавать себя «крепким» государством. Торжество государственного объединения и прикрепления было в ту эпоху злобою дня, очередным вопросом, занимавшим умы и возбуждавшим чувства и мысль. Все те, кто понимал значение происходившего процесса, обсуждали его смысл; одни ему сочувствовали, другие же осуждали, жалея исчезавшую старинную вольность. Поклонники и почитатели народившегося государства создавали, так сказать, его теорию, представляя московского великого князя высшею политическою силою – «царем православия», наследником вселенских византийских монархов, а Москву – преемницею Рима, средоточием всего христианского мира. Настроение писателей этого направления было очень приподнятым, торжественным и ликующим. В обращениях своих к московским великим князьям они не скупались на высокие эпитеты и чрезмерную хвалу, яркими красками рисуя чрезвычайные успехи Москвы в деле «собрания» Русской земли и в борьбе с внешними врагами. С самого детства Грозный должен был слышать и впитать в себя эти радостные гимны национального торжества, так как они были усвоены правящею средою и ею обращены в официальную теорию московской власти и созданного этою властью государства. Гораздо позже Грозный узнал другое направление современной ему общественной мысли – то, которое можно назвать реакционным и оппозиционным. Были люди, страдавшие от условий, народившихся с новым государственным порядком. Они жалели отошедшую старину и негодовали на новые обычаи, называя их «нестроениями». «Дотоле земля наша Русская жила в тишине и в миру», – говорили они о старых временах великого князя Ивана III; о времени же его сына Василия III они прибавляли: «...которая земля переставливает обычаи свои, и та земля недолго стоит; а здесь у нас старые обычаи князь великий переменял, – ино на нас которого добра чаяти?» Грозному, росшему в понятиях политического оптимизма, такие настроения были, конечно, чужды и враждебны. Все, что пришло в Москву, в дворцовый и государственный обиход, с его бабкою великою княгиней Софьей, с ее греками и итальянцами, должно было ему представляться «добром», а вовсе не «нестроением». Наплыв в Москву иностранных мастеров и дипломатов для его деда и отца был естественным и неизбежным следствием того политического роста, который поставил Московское княжество в положение преемницы Царьграда, первенствующей на востоке Европы державы. Какое в этом было «нестроение»?

Таков был духовный корень, на котором вырос ум и воспиталась душа Грозного. Апология абсолютизма и национального единства, сознание вселенской роли Москвы и в связи с ним стремление к общению с другими народностями – вот те идеи и стремления века, которыми определились основы мирозерцания Грозного. Но раньше, чем Грозный осознал и усвоил

эти идеи и стремления, ему пришлось пережить тяжелое время сиротского детства и связанной с ним нравственной порчи.

## 2. Время регентства

Великий князь Иван Васильевич Грозный родился 25 августа 1530 года. В это время его отцу, великому князю Василию Ивановичу, было более 50 лет. Не имея детей от первого брака с Соломонией Сабуровой, он в ноябре 1525 года расторг этот брак к большому соблазну правоверных москвичей и, к еще большему соблазну, 21 января 1526 года женился на выезжей литовской княжне из рода князей Глинских. Дядя этой княжны Елена Васильевна князь Михаил Львович Глинский вырос «у немцев», был воспитан в их обычаях и служил у Саксонского герцога; в Литве он пользовался громкою славой за свои воинские подвиги. Поссорясь с литовским великим князем, он направился в Москву, где был принят с почетом. Туда он вывез и своего брата Василия Львовича с его многочисленной семьей. Сам князь Михаил не ужился и в Москве: он был взят под стражу по подозрению в том, что хочет «отъехать» из Москвы обратно в Литву. А во время его заточения, когда подросла его племянница, осиротевшая княжна Елена Васильевна, великий князь выбрал ее себе в жены. Елена была привезена в Москву ребенком, лет за двадцать до своего замужества, выросла и воспиталась в московских нравах; но все-таки происходила она из семьи иноземной с культурными традициями не московскими. Этим современники объясняли поведение великого князя, который, вопреки добрым московским нравам, в угоду молодой жене, «обрil себе бороду и пекся о своей приятной наружности» (слова Карамзина).

Но и второй брак великого князя Василия не сразу был осчастливлен потомством. Первенец монарха родился только на пятый год его супружества, что дало повод злым языкам предполагать, что он, подобно Святополку Окаянному, был «от двою отцу». Последующая близость великой княгини к князю Ивану Федоровичу Оболенскому-Телепневу указывала и то лицо, на которое метила сплетня. Но великий князь Василий не имел сомнений. Он с большим церемониалом крестил сына Ивана в Троице-Сергиевом монастыре, а через год по его рождению в день его ангела «Иоанна – Усекновение главы», 29 августа 1531 года, торжественно построил, по вековому русскому обычаю, в один день «обыденку» – церковь на Старом Ваганькове в Москве (где ныне Ваганьковский переулок). Это была благодарственная за рождение сына «обетная» церковь: великий князь «совершил обет свой и прия дело своим царскими руками первые всех делателей, и по нем начата делати, и сделаша ее (церковь) единым днем; того же дни и священа бысть». На этом торжестве присутствовал и его годовалый виновник «князь Иван».

Желанная «благородная отрасль царского корене» малютка Иван стал тогда же предметом чудесных рассказов. Говорили, будто в час его рождения внезапно разразилась сильная гроза, будто какой-то юродивый предсказал ожидавшей ребенка великой княгине, что у нее родится «Тит – широкий ум»<sup>29</sup>, будто инок Ферапонтова монастыря Галактион за четверть века до рождения Грозного предвещал, что великому князю Василию не удастся взять Казань, но что овладеет ею его «благодатный сын» (имя «Иоанн» переводилось «Божья благодать»). Сам Грозный читал эти и подобные им рассказы в официальных летописных сводах и от них мог заключать о «грозе» своего нрава, о широте своего ума и о своем высоком предназначении завоевателя и политика. Но московские пророки не смогли предугадать тех осложнений и неприятностей, какими было исполнено детство, а отчасти и юность Грозного.

<sup>29</sup> Память апостола Тита чествуется 25 августа – день рождения Грозного; в этом смысл предсказания. По отзыву Иоанна Златоуста, Тит был наиболее искусный из учеников апостола Павла: в этом, быть может, объяснение слов «широкий ум».

Грозный потерял отца, не имея и четырех лет от роду. Василий умирал в тяжких страданиях: «болячка» на ноге мучила его два месяца и вызвала общее заражение крови. Предчувствуя роковой исход, Василий стал заблаговременно строить свою Думу и приказывать «о устройении земском и како бы правити после его государство». Он много занимался составлением завещания и беседами с избранными боярами. По-видимому, мысль его остановилась на том, чтобы, передав великое княжение малютке сыну Ивану, образовать около него как бы регентство – боярский совет из доверенных лиц. Таким были его «сестричичи», князья Вельские (сыновья его двоюродной сестры), князь Михаил Львович Глинский (ему «по жене племя»), князья Шуйские, их родич князь Борис Иванович Горбатый-Суздальский, Михаил Семенович Воронцов и некоторые другие. Особо от этой коллегии душеприказчиков великий князь доверил князю Михаилу Глинскому, боярину Михаилу Юрьевичу Захарьину и своему приближенному дьяку Шигоне охрану великой княгини Елены и опеку над тем, «како ей без него быть и како к ней бояром ходити». С ними же он интимно поговорил и вообще о своих желаниях: «...и обо всем им приказа, како без него царству строитися». Тяжкую заботу, даже страх, внушали великому князю его братья, удельные князья Юрий и Андрей Ивановичи, которые могли «искать царства под его сыном и погубить Ивана». Когда великому князю уже не стало возможности утаивать от братьев свою болезнь, он всячески убеждал их крепко стоять на том, на чем они договорились и крест целовали, именно – чтобы сын его учинился на государстве государем, чтобы была в земле правда и чтобы в их среде розни некоторые не было. Они ему это обещали, но, конечно, не уничтожили его тяжких сомнений. Василий скончался (4 декабря 1533 года) в тревоге за свою семью и за судьбу государства.

Действительно, едва успели похоронить великого князя, как уже начались в правительстве смуты. По доносу на удельного князя Юрия его арестовали правившие бояре по соглашению с великой княгиней. Месяца через два другого удельного князя Андрея выслали на его удел в город Старицу и взяли с него «запись» о полном подчинении московскому правительству. Вскоре после этого великая княгиня Елена при содействии ее любимца князя Ивана Федоровича Оболенского-Телепнева освободила себя от установленной над нею опеки и совершила правительственный переворот. Она арестовала своего знаменитого дядю Михаила Глинского и князей И.Ф. Вельского и И.М. Воротынского. Другой Вельский (Семен) и родственник Захарьина Иван Ляцкий скрылись от опасности опалы в Литву. Во время этого переворота Шуйские уцелели<sup>30</sup> и остались в правительстве, но главная сила и власть сосредоточились в руках временщика Телепнева, который действовал именем Елены. С конца 1534 и до начала 1538 года продолжалось это правление великой княгини. В 1537 году ей удалось заманить в Москву удельного князя Андрея и заточить его в оковах в тюрьме, где он вскоре и умер, жену его и сына Владимира арестовать и держать под стражей. Это было в начале лета 1537 года, а всего через несколько месяцев, 3 апреля 1538 года, самой Елены не стало. Ее, по возникшему тогда упорному слуху, извели бояре отравой. Прошла с ее смерти какая-нибудь неделя, и «боярским советом князя Василия Шуйского и брата его князя Ивана и иных единомысленных им» любимец Елены Телепнев был взят: «...и посадиша его в палате за дворцом у конюшни и умориша его гладом и тягостию железною». Тогда же освободили из-под стражи И.Ф. Вельского и А.М. Шуйского. Таким образом, с падением Телепнева восстановился при великом князе Иване тот состав регентства, какой был намечен умиравшим Василием. Только не было в нем Михаила Львовича Глинского: он умер в тюрьме года через два после своего ареста (15 сентября 1536 года).

При оценке правительственного порядка, действовавшего в Москве в малолетство Грозного после смерти его матери, необходимо помнить, что власть была в руках тех фамилий,

<sup>30</sup> За исключением князя Андрея Михайловича, который сидел в тюрьме, по-видимому, по прикосновенности к делу удельного князя Юрия.

которым ее доверил великий князь Василий. Все это были близкие Василию семьи: или его «племя» (Вельские), или «племя» его жены (Глинские), или же родовитейшие князья Рюриковичи, которым, при доверии к ним государя, неизбежно принадлежало первенство в Думе и администрации (Шуйские). Если бы в этой среде дворцовых вельмож сохранилось согласие, они явились бы обычным регентством, династическим советом, действовавшим в интересах опекаемого монарха. Но эти люди перессорились и превратили время своего господства в непрерывную смуту, от которой терпели одинаково и государь, и подданные. Изучая немногие дошедшие до нас сведения об этой смуте, не видим никаких принципиальных оснований боярской взаимной вражды. Вельские и Глинские выступают всегда как великокняжеская родня, дворцовые фавориты, живущие в полной солидарности с главою их «племени». Действия Шуйских имеют вид дикого произвола, за которым не видать никакой политической программы, никакого определяющего начала. Поэтому все столкновения бояр представляются результатом личной или семейной вражды, а не борьбы партий или политических организованных кружков. Современник по-своему определяет этот неизменный, своекорыстный характер боярских столкновений: «...многие промеж ихбьяше вражды о корыстех и о племянех их; всяк своим печется, а не государьским, не земским». Около виднейших и влиятельнейших сановников группировались их друзья и клиенты и, пользуясь удачею своего патрона, принимались из его торжества извлекать свою пользу, «корысть». На доставшихся им должностях были они «свирепи, аки Львове, и люди их, аки зверие дикии, до крестьян». Политическими притязаниями или классовыми вождениями ни на минуту нельзя объяснять этого позорного грабительского поведения временщиков, овладевавших властью в стране при малолетнем великом князе.

Ему приходилось страдательно наблюдать, как через полгода после смерти его матери и восстановления боярского регентства Шуйские упрятали в тюрьму Ивана Вельского и убили дьяка Федора Мишурина; «не любя того, что он за великого князя дела стоял»; а затем (в начале 1539 года) вынудили московского митрополита Даниила оставить сан и уйти в монастырь «за то, что он был в едином совете с князем Иваном Вельским». На его место был поставлен митрополитом Троицкий игумен Иоасаф. Он оказался человеком независимым и, выбрав время (летом 1540 года), настоял на освобождении Вельского. Благодаря этому диктатура Шуйских прекратилась и как будто бы восстановилась деятельность регентства. Покушения татар на московские границы от Казани (зимою в конце 1540 года) и от Крыма (летом 1541 года) погасили было боярские ссоры и напрягли энергию московского правительства на защиту государства. Но когда опасность миновала, Шуйские взялись за старое. Князь Иван Васильевич Шуйский всю вторую половину 1541 года находился во Владимире с войсками против татар. Там он и подготовил переворот, опираясь на преданные ему отряды войска. Его отряд в ночь на 3 января 1542 года ворвался в Москву и произвел ряд насилий. Князь Иван Вельский был схвачен и сослан на Белоозеро в тюрьму, где вскоре потом убит. Его друзья были разосланы по городам. Митрополит Иоасаф от страха ночью прибежал в покои великого князя, но бояре с Шуйским нашли его и там, при государе подвергли оскорблениям и, вытащив оттуда, сослали в Кириллов монастырь. Вместо него митрополитом был наречен и поставлен Новгородский архиепископ Макарий. В Москве опять настало засилье Шуйских; но самый видный из них князь Иван Васильевич теперь сошел со сцены, по-видимому пораженный болезнью. Вместо него действовали Шуйские старшей линии этого рода – князья Андрей и Иван Михайловичи и князь Федор Иванович Скопин-Шуйский. Первенствовал Андрей (дед будущего московского царя Василия Шуйского). Прошло года полтора под властью Шуйских, пока не назрел решительный перелом в московской смуте. В сентябре 1543 года Шуйские при государе и митрополите «у великого князя на совете» учинили насилие над Федором Семеновичем Воронцовым «за то, что его великий князь жалует и бережет». Его чуть не убили и пощадили только «для государева слова», потому что Иван очень просил за него. Но все-таки Воронцова с сыном

против государевой воли сослал на Кострому. При этом случае бояре во дворе оскорбили митрополита Макария, порвав на нем мантию. Насилие над Воронцовым переполнило меру терпения Ивана. Ему было уже тринадцать лет. Он ненавидел Шуйских как своих постоянных обидчиков и решил на мщение за их обиды, вероятно подстрекаемый и со стороны – боярами. Прошло три-четыре месяца после случая с Воронцовым, и около 1 января 1544 года Иван вдруг «велел поимати первосоветника их» князя Андрея Михайловича и «велел его предати псарем, и псари взяша и убита его, влекуще к тюрьмам». Люди, которые не верили, чтобы такое деяние могло исходить от малолетнего государя, говорили о князе Андрее, что «убили его псари у Куретных ворот повелением боярским, а лежал наг в воротех два часа».

Смертью князя Андрея окончилось время Шуйских. Официальная московская летопись говорит, что, погубив «первосоветника», великий князь сослал его брата князя Федора Ивановича и других членов их правящего кружка – «и от тех мест начали бояре от государя страх имети и послушание». Регентство окончилось, все главнейшие лица, введенные в него великим князем Василием, уже сошли с земного поприща. Не было в живых ни Михаила Глинского, ни Ивана Вельского, ни Василия и Ивана Шуйских. Оставались только второстепенные или недействительные сановники вроде князя Дмитрия Федоровича Вельского и М.Ю. Захарьина. Они не владели волею Ивана. Ближе всех к Ивану были его дяди Юрий и Михаил Глинские с их матерью, бабушкой Ивана, княгиней Анною. Эта семья и получила влияние на дела при великом князе, еще не созревшем для управления. Скрываясь за подраставшим государем и не выступая официально, Глинские совершили много жестокостей и насилий и очень дурно влияли на самого государя.

Годы 1544–1546 были временем Глинских, и об этом времени в народе сохранилась плохая память. О Глинских говорили, что «от людей их черным людям насильство и грабеж, они же их от того не унимаху». Выросший и физически окрепший Иван выказывал дурные склонности, мучил животных, «бесчинствовал, собравши четы юных около себя детей», и даже покушался «всенародных человеков, мужей и жен, бити и грабити, скачуще и бегающе всюду неблагочинне». Окружавшие его «ласкатели», то есть Глинские, не только не унимали его, но и похваливали, говоря, что «храбр будет сей царь и мужествен». Пользуясь его склонностью к озорству, они «подучали» его на опалы и казни. Так говорят нам современники. И действительно, в эти годы Иван с чрезвычайной легкостью ссылает и казнит людей, по-видимому, за малые вины, и притом не разбирая, к какому кругу боярскому они принадлежат. Страдают люди стороны Шуйских в той же мере, как их недруги и противники. Всего показательнее судьба Федора Семеновича Воронцова. Выше было сказано, что в 1543 году Ф. Воронцова государь «жаловал и берег», Шуйские же его сослал. По смерти Андрея Шуйского государь «опять его в приближении у себя учинил»; а в 1546 году Федор Воронцов был казнен вместе со сторонником Шуйских князем Иваном Кубенским по общему на них обоих доносу, к тому же доносу лживому. Таковы были первые шаги Грозного после уничтожения гласной опеки Шуйских под негласной опекой Глинских. Нет ничего удивительного в том, что кровь и грабежи сверху вызвали бунт и кровь снизу. В 1547 году после больших московских пожаров толпа погорельцев убила одного из Глинских, князя Юрия, и, пришедши «скопом ко государю» в село Коломенское, пыталась требовать выдачи государевой бабки княгини Анны и другого дяди Ивана князя Михаила. Государь их не выдал, и они уцелели. Но имущество Глинских было погромлено и их людей «бесчисленно побита»; «много же и детей боярских незнакомых побита из Северы, называючи их Глинского людьми». Этим погромом ненавистной семьи закончилось время Глинских и вместе с тем завершился первый период юности Грозного. Иван перешел в другую полосу своей жизни.

Мы с некоторою подробностью остановились на боярской смуте, чтобы показать, что именно видел Иван в своем детстве. Не идейную борьбу, не крупные политические столкновения, а мелкую вражду и злобу, низкие интриги и насилия, грабительство и произвол – все

это ему приходилось изо дня в день наблюдать и терпеть на себе<sup>31</sup>. На этом образовались его первые понятия, на этом воспиталась душа. И все лучшее, что приходило к Ивану в эту пору, мешалось с нездоровыми инстинктами, возбужденными средою. А лучшее несомненно приходило: оно пришло во дворец Грозного, например, с митрополитом Макарием. Макарий явился из Новгорода в Москву в ореоле литературной известности. Будучи архиереем в Новгороде, он достиг там необыкновенной популярности: его почитали «учительным» и «святым» человеком. Он «беседовал к народу повестьми многими» так понятно, что все «чюдишася, яко от Бога дана ему бысть мудрость в божественном писании – просто всем разумети». С его появлением в Новгороде «бысть людем радость велия не только в Великом Новгороде, но и во Пскове и повсюде: и бысть хлеб дешев, и монастырем легче в податех, и людем заступление велие, и сиротам кормитель бысть». Эти достоинства пастыря, очевидные всем, сопрягались у Макария с подвигом, недоступным разумению толпы. Он задумал собрать в один сборник все «чтомые книги яже в Русской земле обретаются». Для такого сборника новгородская почва была наиболее пригодной, потому что на Руси она была наиболее культурна. Десяток лет провел Макарий в этом труде. Он соединил вокруг себя многих деятелей, собиравших литературный материал и работавших над его редакцией: в их числе были дьяки (Д.Г. Толмачев), дети боярские (В.М. Тучков), священники (знаменитый Сильвестр). В результате к 1541 году были готовы «Минеи-Четьи» – громадный сборник (более 13 500 больших листов) произведений «божественных»: житий, поучений, книг Ветхого Завета и тому подобного. Одних житий было в сборнике около 1300. Перейдя на митрополичий стол в Москву Макарий перевел туда своих сотрудников и продолжал там привычную работу, дополняя и совершенствуя свой материал. Работа шла около молодого государя, бывшего в непосредственном общении с митрополитом, и государь знакомился со всем кругом тогдашнего чтения, входил в литературные интересы митрополита, подпадал под его влияние, учился под его руководством и приучался ценить и уважать нравственные его достоинства. Не склонный к политической борьбе, далекий от интриг, спокойный и преданный умственному труду, Макарий остался чист от грязи боярских столкновений и злоупотреблений и для молодого государя явился человеком как бы иного мира. Способный и умный юноша охотно и легко поднимался на высоты Макарьева мирозерцания и вместе с литературными знаниями усвоил себе и национально-политические идеалы, которым веровала окружавшая митрополита среда. Теория единого вселенского православного государства с самодержавным монархом, «царем православия» во главе, овладела умом Ивана. Риторика макарьевской школы пришлась ему по вкусу, и чтение стало любимым его занятием. К своему «возрасту», то есть совершеннолетию, Иван стал образованным, «книжным» человеком, для того времени передовым. «Муж чудного рассуждения, в науке книжного поучения доволен, и многоречив зело» – так отзывались о нем его современники.

Таковы обстоятельства, создавшие двойственность в натуре Грозного. Если бы влияние Макария всецело подчинило себе Ивана, оно бы его пересоздало. Но оно действовало в атмосфере дворца, насквозь отравленной произволом, насилием и развратом. Шуйские и Глинские достаточно позаботились о том, чтобы познакомить Грозного с отрицательными сторонами тогдашнего быта. Грабя и насильничая на его глазах, они и его увлекали за собою к произволу и жестокости. Немногие по числу известия летописей о молодом Иване красноречивы по характеру. Они говорят о его жестокостях, пустых забавах и даже грабительстве. Так, описывая путешествие Ивана с его младшим братом Юрием в Новгород и Псков осенью 1546 года, местные летописцы не скрывают своего неудовольствия. Псковичи жалуется, что великий князь в их области дела не делал, а «все гонял на месках» (то есть скакал на лошадях),

<sup>31</sup> Грозный в письме к Курбскому рассказывал, что его с братом бояре плохо кормили и «одевали, с ними дерзко обращались («многажды поздно ядох не по своей воли»), оскорбляли память его отца; крали казну, золото, серебро и меха, и «вся по мзде творяще и глаголюще». Эти обвинения были главным образом направлены на Шуйских.

«быв немного» в самом Пскове: также и брат его недолго побыл в городе, «а не управив своей отчины ничего». Оба они спешили к Москве, «а христианам много протор и волокиты учинили». Высочайшее посещение рассматривалось как бедствие. В это же путешествие, в конце ноября 1546 года, Грозный в Новгороде, по местному известию, ограбил Софийский собор. Он в соборе «неведомо какуведа казну древнюю, сокровенну в стене». Явившись ночью, стал «он пытать про казну» ключаря и пономаря и, «много мучив их», ничего не допытался, но все-таки вскрыл стену «на всходе» (лестнице), «куда восхождаху на церковные полати», и нашел там «велие сокровище» – серебряные слитки – и «насыпав возы и посла к Москве». Не получив управы у себя в городе, псковичи вслед за Иваном послали в Москву весной 1547 года семьдесят ходочков «жаловатися на наместника» их князя Турунтая Пронского. Жалобщики нашли великого князя в коломенском сельце Островке, куда он, по обычаю, выехал «на прохлад поездити потешитися». Государь остался недоволен тем, что его обеспокоили, «опалился на псковичь, их бесчествовал, обливаючи вином горячим, палил бороды и волосы да свечью зажигал и повелел их покласти нагих по земли». И все это делалось в те же месяцы, когда под руководством Макария Иван торжественно с умильными речами обращался к митрополиту и боярам и совет держал с ними, «восхоте бо великий государь женитися и о благословении еже сести на царстве на великом княжении». Осенью 1546 года совершилось легкомысленное путешествие в Новгород и Псков; в декабре Иван объявил Макарию и всем боярам, даже тем, «которые в опале были, что он женитися и хочет венчатся царским венцом»; в январе 1547 года произошло торжественное принятие царского титула; в феврале состоялась свадьба Ивана с дочерью окольного Романа Юрьевича Захарьина и благочестивое пешее хождение новобрачных в Троице-Сергиев монастырь; а около 1 июня псковские жалобщики испытали на себе глумливую милость и ласку нового царя. Очевидно, высокие слова и пышные идейные церемонии отлично уживались в Грозном с низкими поступками и распущенностью. Воспринятые умом благородные мысли и широкие стремления не облагородили его души и не исцелили его от моральной порчи. Красивым налетом легли они на поверхности, не проникнув внутрь, не сросшись с духовным существом испорченного юноши.

## **Глава вторая**

### **Первый период деятельности Грозного. – Реформы и татарский вопрос**

#### **1.1547 год; образование «Избранной рады»**

Пышными церемониями венчания на царство и свадьбы начинается новый период в жизни Ивана. Торжества во дворце по времени почти совпали с рядом больших пожаров в Москве и с народным бунтом и погромом на Глинских. На Пасхе 1547 года выгорел Китай-город; через неделю сгорели кварталы за Яузой; в июне произошел тот громадный пожар, который вызвал погром и получил историческую известность в связи с нравственным «перерождением» Грозного. Выгорел Кремль весь и почти все «посады» Москвы: можно сказать, пострадал весь город целиком «и всякие сады выгореша и в огородах всякий овощ и трава»; считали, что сгорело 1700 человек. Царь уехал в село Воробьево, где и «стоял» до возобновления города. На пожарище же народная толпа искала виновников происшедшего бедствия и нашла их в лице Глинских и их дворни. Одного из Глинских убили и пошли к царю в Воробьево, требуя выдачи других. Царь ответил казнями, и движение улеглось после многих жертв.

Все это полугодие 1547 года для Ивана было рядом сильных переживаний, и немудрено, что современники именно к этому периоду относили начало внутренней перемены в молодом царе. Очень изобразительно князь А.М. Курбский в своей «Истории о великом князе Московском» рассказывал, что после пожара и бунта Бог чудесно «руку помощи подал отдохнуть земле христианской»: тогда к царю «прииде един муж, презвитер чином, именем Сильвестр, пришелец от Новаграда Великого, претяще ему от бога священными писаньми и срозе (то есть строго) заклинающе его страшным божиим именем, еще к тому и чудеса и акибы явление от бога поведающе ему... и последовало дело: иже душу его от прокаженных ран исцелил и очистил был, и развращенный ум исправил». Еще изобразительнее Карамзин представил «перерождение» Ивана. Воспользовавшись рассказом Курбского, он понял начальное в нем слово «прииде» в том смысле, что Сильвестр внезапно откуда-то проник к царю, не будучи ему ранее известен. Когда, по словам Карамзина, «юный царь трепетал в Воробьевском дворце своем, а добродетельная (его супруга) Анастасия молилась, явился там какой-то удивительный муж, именем Сильвестр, саном иерей, родом из Новагорода, приблизился к Ивану с подъятым, угрожающим перстом, с видом пророка, и гласом убедительным возвестил ему, что суд Божий гремит над главою царя легкомысленного и злострасного... потряс душу и сердце, овладел воображением, умом юноши и произвел чудо: Иван сделался иным человеком...» Но в сущности, чуда никакого не было, как не было и внезапного появления Сильвестра, столь «усиленного в колорите» (по выражению Д.П. Голохвостова) красноречивым историком. Известно, что Сильвестр был в Москве задолго до событий 1547 года; он прибыл туда, вероятно, в 1542 году вместе с его патроном митрополитом Макарием. С другой стороны, ни по летописям, ни по иным документам не видно крутой перемены в самом Иване после пожара 1547 года. Один Курбский (и то, если его понять так, как понял Карамзин) изображает внезапный переворот в душе и поведении молодого царя. Но именно благодаря Курбскому, если сопоставить его слова с официальной летописью, можно догадаться, что народный бунт 1547 года действительно повел к существенной перемене – только не в царе, а в правительстве московском.

После бунта окончилось время Глинских и прекратилось их влияние на дела. Народ убил Юрия Глинского, а его брат Михаил Васильевич Глинский, который, по словам Курбского, «был всему злему начальник», убежал из Москвы, как «и другие человекоугодницы сущие

с ним». Но и там, куда скрылся Глинский, в ржевских его селах, он не чувствовал себя безопасным. Вместе с видным сторонником кружка Шуйских князем Иваном Ивановичем Турунтаем-Пронским он пытался бежать в Литву. Оба они начали побег по первому зимнему пути, в ноябре 1547 года, но запутались «в великих тесных и непроходимых теснотах» глухой ржевской украины и не достигли цели. Укрываясь от погони, они сами добрались до Москвы, где и были арестованы. Свой поступок они объяснили боязнью: «...от неразумия тот бег учинил, обложася страхом княже Юрьева убийства Глинского». Однако в ту минуту нечего было бояться погрома – Москва давно успокоилась: царь праздновал свадьбу своего младшего брата Юрия с княжной Палецкой; в те же дни (ноябрь 1547 года) выступил из Москвы авангард московского войска, собранного против Казани, и сам царь собирался ехать к войску. Словом, жизнь московская шла уже обычным порядком. А родной государев дядя бежит в Литву вместо того, чтобы веселиться на свадьбе своего младшего племянника, и с ним бежит крупный боярин, принадлежавший к стороне Шуйских, то есть к тому кругу дворцовой знати, который был далек от Глинских, даже им враждебен, и вовсе не был жертвою народного погрома. Очевидно, не боязнь мятежной толпы гнала беглецов в Литву, а перемена в московском правящем кругу. Около царя вместо компрометированных и низверженных Глинских стали другие доверенные лица. Они были настроены так, что «всему злему начальник» Михаил Глинский и псковский наместник Турунтай, при Глинских угнетавший псковичей, могли ожидать на себя гонения и надумали от заслуженного возмездия спастись бегством. Курбский со своим обычным риторическим приемом освещает для читателя вопрос о том, как образовался около Грозного правящий кружок. Рассказав, как «прииде» к царю Сильвестр, он продолжает: «С ним же (Сильвестром) соединяется во общение един благородный тогда юноша ко доброму и полезному общему, имянем Алексей Адашев; цареви ж той Алексей в то время зело любим был и согласен». Вдвоем Сильвестр и Адашев, склонявших Ивана на зло «прежде бывших» правителей, «яже быша зело люты», удаляют или «уздают и воздержат страхом бога живаго». А вместо удаленных и сосланных правителей, «оных предреченных прелютейших зверей», Адашев и Сильвестр, во-первых, «присовокупляют себе в помощь» митрополита Макария, который призывает царя к покаянию и ко внутреннему обновлению, а во-вторых, собирают к нему советников – мужей разумных и совершенных, во старости маститей сущих... других же аще и во среднем веку, такоже предобрых и храбрых... и сие ему их в приязнь и в дружбу усвоят, яко без их совету ничего же устроить или мыслити». Ясен происшедший дворцовый переворот: народный бунт сверг опеку Глинских; духовным сиротством «злоострастного» царя воспользовались приближенные к нему случайные люди, не входившие в состав ранее правившей знати. Они построили свое влияние на личной приязни и моральном подчинении царя и удалили от него всех прежних опекунов и советников, от дяди Глинского до сторонников Шуйских. Воодушевленные желанием общего блага, они поставили своей задачей нравственное исправление самого Грозного и улучшение управления. В митрополите Макарии они получили помощника и нередко вдохновителя. Так около Грозного, видевшего до той поры вокруг себя только зло и произвол, образовалась впервые идейная среда. Она оказала могучее влияние не только на ход государственных дел, но и на развитие личных правительственных способностей, которыми бесспорно был одарен Грозный. Но ей не под силу было истребить в нем укоренившиеся с детства дурные инстинкты и привычки.

Можно думать, что образование нового правящего кружка около Грозного совершилось не сразу, а шло исподволь. Адашеву и Сильвестру удалось сразу сокрушить Глинских и самим укрепить свое влияние при царе, привыкшем к опеке и сотрудничеству в делах управления; но собрать «мужей разумных и совершенных» и образовать из них согласованный и спевшийся кружок необходимо было время. По летописям и разрядам 1547–1549 годов можно установить, что к осени 1547 года режим Глинских пал; но признаки новых веяний в правительственной практике становятся заметны только в начале 1549 года. Весь же 1548 год проходит для царя

в привычной рутине: зимний поход на Казань без особого результата, богомольные «походы» летом по монастырям, осенью «объезд» на охоту, «на свою царскую потеху», и по далеким «святым местам» Замосковья. Не видно, чтобы государственные дела более чем прежде занимали Грозного. По-видимому, в это время за его спиной формировалась постепенно «Избранная рада» из людей, привлеченных временщиками Сильвестром и Адашевым, вырабатывалась программа действия, слагались отношения, понемногу связавшие Грозного полную зависимостью пред «собацким собранием» (так он по-своему называл впоследствии «Избранную раду»). Состав этого собрания, к сожалению, точно не известен; но ясно, что он не совпадал ни с составом Думы «бояр всех», исконного государева совета, ни с ближней думою, интимным династическим советом<sup>32</sup>. Это был частный кружок, созданный временщиками для их целей и поставленный ими около царя не в виде учреждения, а как собрание «доброхотающих» друзей. Во главе этого кружка стоял поп Сильвестр, о котором со всех сторон идут согласные отзывы, что это был всемогущий временщик. Официальная летопись говорит: «Бысть же сей священник Селивестру государя в великом жаловании и в совете в духовном и в думном и бысть яко всемогий, вся его послушаху и никтоже смеяше ни в чем же противитися ему... И всеми владаше обема властми, и святительскими и царскими, якоже царь и святитель, точию имени и образа и седалища не имяше святительского и царского, но поповское имяше, но токмо чтим добре всеми и владеяше всем со своими советники». Сам царь признавался, что как младенец пребывал во всей воле и хотении Сильвестра, которому «покорился без всякого рассуждения». Сильвестр с Адашевым, по словам Грозного, всю власть от него отняли и так угнетали и гнали его, что ему «властию ничим же лучше быти раба». Почин в этом царь приписывал Сильвестру: это Сильвестр подобрал в одно «собацкое собрание» и Адашева и других своих «угодников». Со своей стороны и Курбский считает Сильвестра тем «блаженным льстецом истинным», который первый задумал перевоспитать царя и взять его под опеку «разумных и совершенных» советников. Рядом с ним молодой сверстник Грозного Алексей Адашев, конечно, занимал второе место, хотя, быть может, по служебной близости к царю (он был «комнатным» спальником и стряпчим, то есть жил при царе) именно Адашев и был проводником того влияния, которое шло от «Избранной рады». Не принадлежал Адашев в 1547–1548 годах ни к боярству, ни к думным чинам; он был из высшего слоя провинциального (костромского) дворянства и ко двору попал случайно, всего вероятнее, в числе тех «потешных ребят», которые были взяты во дворец для игр к маленькому великому князю Ивану. Это и дало повод Грозному сказать, что он не знает, как около него оказался «собака Алексей» еще в дни его детства: «... в нашего царствия дворе в юности нашей, не вем каким обычаем из батожников<sup>33</sup> водворился». По сообщению Грозного, он приблизил к себе Адашева, «взяв сего от гноища», потому что ждал от него «прямой службы» и думал, что он заменит царю изменных «вельмож». По-видимому, на придворную карьеру Адашева повлияли его личные качества. Курбский отзываясь о нем очень хвалебно, говоря, что он был «отчасти при некоторых нравех ангелам подобен» и настолько совершенен, что «воистинну вере не подобно было бы пред грубыми и мирскими человеки». Когда Адашев был в войсках в Ливонии, то, по словам Курбского, немало градов ливонских готово было сдать ему «его ради доброты». Много спустя после кончины Адашева, в 1585 году, при начале карьеры Бориса Годунова, в Польше Гнезненский архиепископ Станислав Карнковский, расспрашивая московского посланника Лукьяна Новосильцова о Борисе, сравнил его с Адашевым, отозвавшись об Адашеве очень лестно, как о человеке разумном, милостивом и «просужем» (дельном), который «государство Московское таково же

<sup>32</sup> Личный состав Боярской думы «бояр всех» и ближней думы тех лет нам известен. Ближними боярами были в те годы князь И.Ф. Мстиславский, князь В.И. Воротынский, И.В. Шереметев «большой», князь Д.И. Курлятев, М.Я. Морозов, князь Д.Ф. Палецкий, Д.Р. Юрьев-Захарьин, В.М. Юрьев-Захарьин. Из них один Курлятев принадлежал к «Избранной раде».

<sup>33</sup> Батожник – служитель с батогом (палкой), идущий впереди царского или боярского поезда и расчищающий путь; на севере – церковный сторож с батогом (по Далю).

правил», каково было правление Годунова. Таким образом, личные свойства Адашева нашли себе широкую популярность даже за пределами его родины.

Из остальных членов «Избранной рады» по имени точно (со слов самого Грозного) известны только князь Дмитрий Курлятев, старый слуга великого князя Василия Ивановича, в 1548 или 1549 году пожалованный в бояре; да почти наверное можно причислить к раде князя Андрея Михайловича Курбского. О других лицах можно лишь гадать. Можно утверждать, однако, что, судя по общей тенденции рады, в ней преобладал княжеский элемент и, вероятно, княжата из разных удельных линий составляли в ней большинство. Сам Грозный сделал на это намеки в письме к Курбскому, указывая на главные вожеления членов рады. Во-первых, в одном месте своего письма<sup>34</sup> он определенно под «изменниками» разумеет «княжат», когда говорит, что эти изменники прочили престол мимо его сына удельному князю Владимиру Андреевичу. Для него Курбский есть «рождение изчадия ехиднова», княжеского рода, и потому сам «яд отрыгает», то есть изменяет царю; «вы, злые суще, – говорит царь, разумея удельных князей, – извыкосте от прародителей своих измену чинити». Известно, что в 1553 году именно «Избранная рада» отошла от Грозного, держалась Владимира Андреевича и не желала воцарить малютку сына Грозного. Во-вторых, по сообщению Грозного, как только укрепилось влияние Сильвестра и образовалась «Избранная рада», Сильвестр «почал» восстанавливать свободу «княжеского землевладения», стесненную распоряжениями великого князя Ивана III; «которые вотчины у вас (то есть князей) вимали, – писал Грозный, – и которым вотчинам еже несть потреба от вас даятися, и те вотчины, ветру подобно, роздал (Сильвестр) неподобно». В переводе на наш язык это значит, что «Избранная рада» поспешила возвратить потомкам удельных князей конфискованные у них родовые вотчины и восстановить свободу отчуждения и завещания этих вотчин, уничтоженную московскими государями. Конечно, этот акт имел вид классовый и обличал чисто княжескую тенденцию рады. К этим определенным намекам Грозного надо прибавить то общее впечатление от его письма, что для царя главными его врагами, стеснявшими его личную свободу и волю, представляются именно князья. «Поп» Сильвестр и Алексей Адашев первые не князья, которые вместе с князьями пытаются продолжить опеку над Грозным.

Так с полной вероятностью выясняется характер создавшихся вокруг Грозного отношений. Молодой государь подпал личному влиянию «попа» и своего близкого сверстника Адашева. Они были проникнуты желанием оздоровить правительство и подобрать годных к этому людей. Наиболее пригодную для государственного управления среду они видели в потомстве удельных князей, сохранившем правительственные навыки и династические воспоминания, и в этой именно среде они подыскивали своих советников (по-видимому, предпочитая Рюриковичей Гедиминовичам). Составленная ими «Избранная рада», стоявшая вне привычных московских учреждений, с большою свободой обдумала план реформ, предназначенных к водворению порядка в расшатанном во время регентства государстве. Осуществление этого плана началось в первые месяцы 1549 года.

## 2. Приступ к реформам

Февраля 27-го этого года царь «в своих царских палатах перед отцом своим Макарием митрополитом и пред всем освященным собором» сказал боярам своим особой важности речь. Летописец перечисляет по именам некоторых знатнейших бояр, а затем указывает, что царскую речь слушала вся Боярская дума. Предметом речи были злоупотребления бояр. Царь говорил, что «до его царского возрасту от них и от их людей детям боярским и крестьянам чинилися силы и продажи и обиды великие в землях, и в холопех и в иных обидных делах;

<sup>34</sup> Русская Историческая библиотека. СПб., 1914. Т. XXXI: (Сочинения князя А.М. Курбского). С. 28, 30,55.

и они бы вперед так не чинили, детем бы боярским и крестьянам от них и от их людей силы и продажи и обиды во всяких делех не было никоторые, а кто вперед кому учинит силу или продажу или обиду какую, и тем от меня, царя и великого князя, быти во опале и в казни». На это огульное обвинение Дума ответила прилично и с достоинством: бояре все просили, «чтобы государь их пожаловал, сердца на них не держал», они же хотят служить ему и добра хотеть, как служили и добра хотели его отцу и деду; «а которые будут дети боярские и крестьяне на них или на их людей учнут бити челом о каких делех ни буди, и государь бы их пожаловал, давал им и их людям с теми детьми боярскими и со крестьяны суд». Царь их этим пожаловал и заключил беседу словами: «...по се время сердца на вас в тех делех не держу и опалы на вас ни на кого не положу, а вы бы впредь так не чинили». В тот же день такую же речь Грозный держал «воеводам, и княжатам, и боярским детем и дворянам большим», то есть высшей московской придворной и административной среде<sup>35</sup> А на следующий день, 28 февраля, состоялся в присутствии царя и митрополита приговор Боярской думы, бывший в тесной связи с царскими речами предшествующего дня: царь с боярами «уложил, что во всех городах Московские земли наместникам детей боярских не судити ни в чем, опричь душегубства и татьбы и разбоя с поличным; да и грамоты свои жаловальные послал во все города детем боярским».

Именно об этих своих мерах Грозный говорил высшему духовенству на церковном соборе, так называемом «Стоглавом», в начале 1551 года: «В предыдущее лето бил есми вам челом и с бояры своими о своем согрешении, а бояре такоже, и вы нас в наших винах благословили и простили; а яз по вашему благословиению бояр своих в прежних во всех винах пожаловал и простил, да им же заповедал со всеми хрестьяны царствия своего в прежних во всяких делех помирится на срок; и бояре мои, все приказные люди и кормленщики со всеми землями помирились во всяких делех. Да благословился есми у вас тогды же Судебник исправить по старине и утвердити, чтобы суд был праведен... и по вашему благословиению Судебник исправил... да устроил по всем землям моего государства старосты, и целовальники, и соцкие, и пятидесятские по всем градом, и по пригородом, и по волостем, и по погостом, и у детей боярских; и уставные грамоты пописал. Се и Судебник пред вами и уставные грамоты, прочтите и рассудите...»

Любопытен во всех этих правительственных мероприятиях моральный элемент. Предпринимая в 1549 году реформу местного управления, царь начинает дело обновления с самого себя. Он «бьет челом о своем согрешении» пред собором иерархов, кается пред ними с обещанием исправиться и ищет прощения, затем зовет к исправлению и примирению бояр и прочих правителей. Он повторяет свою покаянную исповедь в 1551 году пред Стоглавым собором в очень сильной речи, не щадя себя и обличая свои пороки, и снова зовет своих сотрудников к нравственному возрождению. Целью своих административных нововведений он ставит общее благо и стремится к нему не только проповедью покаяния и примирения, но и практическими мерами. Он ограничивает юрисдикцию наместников, вводит присяжных в их суд, дает самоуправление местным обществам, пересматривает Судебник и дополняет его рядом постановлений, направленных к тому, чтобы дать торжество правосудию и справедливости. Власть впервые выступает пред народом с ярко выраженными чертами гуманности, с заботой об общем благоденствии.

Таковы были первые шаги Грозного по пути реформ, составивших славу его молодости. С необыкновенным подъемом, деловым и моральным, правительство произвело перемены в местном управлении и доложило о них церковному собору 1551 года, прося его одобрения. За этими первыми мерами последовали дальнейшие. Они коснулись снова местного управления

<sup>35</sup> Это важное известие находится в малоизвестном летописце и издано не вполне исправно (ПСРЛ. СПб., 1911. Т. XXII. С. 528–529). По-видимому, событие 27 февраля 1549 года послужило поводом к составлению легенды о земском соборе 1547 или 1550 года, когда будто бы царь на площади торжественно говорил всему народу покаянную речь и обещал ему правосудие (Карамзин Н.М. История государства Российского. СПб., 1819. Т. VIII. Гл. III. С. 102–104, примеч. 182 и 184).

и даровали земству, в дополнение к первым преобразованиям, право полного самоуправления. Они, далее, внесли ряд перемен в устройство и управление военных сил государства; они изменили служебные и бытовые условия служилого класса; они создали перемены в области финансово-податной. Насколько во всем этом сказался почин самого царя и насколько сильно было воздействие на него «Избранной рады», определить, конечно, нельзя; но нет сомнения, что в этой напряженной и систематической работе правительства созрел ум и воспитались способности самого Грозного, и он из неопытного и распущенного юноши постепенно обратился в способного политика, прошедшего хорошую практическую школу под руководством «Избранной рады». Когда он развернулся и сформировался, он не только постиг и усвоил политическое искусство своих руководителей, но уразумел их классовые вождедения, – и тогда «Избранная рада» превратилась для него в «собацкое собрание» и он ушел из-под ее влияния и изжил тот нравственный подъем, какой она ему сообщила.

### 3. Реформа местного управления

Постепенные успехи нашей историографии раскрыли понемногу все содержание и ход преобразовательной деятельности московского правительства за годы 1549–1556, и теперь возможно дать вкратце общий очерк этой деятельности в ее внутренней последовательности. Как было показано, она началась мероприятиями в области местного управления. Правительство желало искоренить насилия, грабежи и раздоры в управлении наместников («силы, продажи и обиды») и для этого воспользовалось теми бытовыми формами земской самодеятельности, какие из древности существовали в Великорусье.

Земли каждого уезда (на которые делилось тогда государство) состояли из владений крупных и льготных землевладельцев, из мелких поместий и «вотчинок» детей боярских и из волостей крестьянских. Крупные вотчины духовенства, князей и бояр жили порядком, подобным феодальному. В них администрация и суд принадлежали владельцам, и агенты центральной власти к ним не касались, в них «не въезжали ни по что». На остальных землях действовала очень примитивная система «кормлений». От государя в известную часть уезда назначались «наместник» или «волостель» для суда и управления. Он наезжал на место своего назначения со своею дворнею и управлял с помощью своих слуг, собирая на свое содержание «кормы» и «пошлины». Управление соединялось с правом взимания доходов в пользу кормленщика, и на этой-то почве и процветали произвол, незаконные поборы и насилия. Пока кормленщик был у власти, с ним нельзя было бороться, когда же он «съезжал с кормления», за ним следовали в Москву жалобщики и искали на нем своих обид и убытков<sup>36</sup>. Правительство начало с того, что в 1549 году потребовало общей ликвидации всех таких исков («заповедало на срок помиритися во всяких делех») и решило впредь установить такой порядок, при котором бы и самых исков не могло возникнуть. Оно исключило детей боярских из общей компетенции кормленщиков («во всех городах Московские земли наместникам детей боярских не судити ни в чем, опричь душегубства, разбоя и татьбы с поличным»). А в крестьянских волостях оно воспользовалось теми формами податной и хозяйственной организации, какие существовали издавна. Раскладка и взимание податей и повинностей, падавших на крестьянские волости общим окладом, предоставлялись самим плательщикам. К этому делу связанная круговой порукой податная община выбирала целый штат мирских уполномоченных, которые ведали все дела, связанные с государственным «тяглом». Правительство, в целях контроля кормленщиков, обратилось к этим общинам с требованием обязательного выбора «судных мужей» для участия в суде и общим законом (в Судебнике 1550 года) постановило, что кормленщики не

<sup>36</sup> Именно таких жалобщиков, пришедших к царю из Пскова жаловаться на князя Турунтая-Пронского, молодой царь жестоко истязал весной 1547 года в селе Островке.

могут судить без участия «судных мужей» и «земского дьячка» («а без старосты и без целовальников наместником и волостелем и их тиуном суда не судити»). Но и на этом власть не остановилась: она скоро пришла к мысли о необходимости общей замены архаических кормлений другими формами местного управления, более соответствующими потребностям времени. По-видимому, различные виды земского самоуправления, бытовым порядком возникшие исстари в северной половине государства и работавшие успешно, навели московских реформаторов на мысль основать местное управление всецело на начале самоуправления. И вот в 1552 году осенью, после Казанского похода, царь, празднуя победу над татарами, сыпал милости и награды, «а кормления государь пожаловал всю землю». Это значило, что царь объявил о своем решении отменить кормления и перейти на новый порядок местного управления, более льготный и приятный для населения. Об этом-то порядке и надлежало подумать.

Отправляясь, по обычаю, крестить своего новорожденного сына Дмитрия в Троицком монастыре, Грозный в исходе 1552 года приказал боярам в его отсутствие в Думе «сидети о кормлениях», то есть обсудить последствия их отмены и способ нового управления уездами. Как кажется, дело сразу не пошло. Царь нашел, что бояре приступили к делу своекорыстно и «возжелеша богатства»: захотели из отмены кормлений прежде всего извлечь выгоды для себя, для своего класса кормленщиков. Чтобы понять это обстоятельство, надобно помнить, что уничтожение старой системы порождало две заботы: первую – о том, кем заменить в уезде кормленщиков и кому передать их ведомство, а вторую – о том, чем возместить лицам, имеющим право на кормление, те доходы, которых они лишались с потерей этого права. Бояре заинтересовались, по мнению Грозного, именно этою последнею стороною вопроса. Быть может, в ней и надо искать причины задержки в решении дела. По летописи, оно было решено только в 1556 году, когда последовал «приговор царский о кормлениях», чтобы кормлениям не быть, а вместо них быть в волостях и уездах выборным властям из местного населения. Вместе с тем на те города и волости, которые переходили на самоуправление, царь указал сверх обычных податей «положите оброки по их промыслу и по землям и те оброки сбирати к царским казнам своим дьяком». Стало быть, вместо расходов, падавших на население для содержания кормленщиков, назначался теперь оброк («кормленный окуп») в государственную казну. Из этого нового финансового поступления государь получал средства для возмещения кормленщикам потерянных ими «кормов» и «пошлин». Летопись говорит об этом, что государь «бояр же и вельмож и всех воинов устроил кормлением – праведными уроки», то есть ежегодным денежным окладом одних, а других «в четвертой год, а иных в третий год денежным жалованием». Так разрешен был вопрос о местном управлении в законе.

На практике разрешение это получило такой вид. Населению той или иной местности предоставлялось просить государя об отозвании наместника или волостеля, сидевших там на кормлении, и о переходе на самоуправление в той или иной форме. На просьбу следовал государев указ выборному старосте, бывшему при кормленщике: «Как к тебе ся наша грамота придет, и ты б наместнику (такому-то) с нашего жалованья (с такой-то местности) велел съехати и в наместничьи ни в которые доходы (с такого-то срока) вступатись ему и его людям не давал; а ведал бы наместничьи всякие доходы... и людей во всяких делех судил и пошлины с судных дел сбирал ты (староста); и целовальников<sup>37</sup> бы еси к наместничью доходу выбрал... и собирая наместничю доходу деньги присылал к нам к Москве». Это случай наиболее простой, относящийся к месту со сплошным тяглым, в классовом отношении однородным населением. Власть московская пользовалась здесь готовою, старинною формою податного самоуправления. Если податная община желала взять на себя не только финансовые дела, которые давно ведала, но и суд и полицию, которые ведал кормленщик, то ей передавалась, в сущности, вся

<sup>37</sup> Это были присяжные, название которых произошло от того, что их приводили «к крестному целованью в том, что им доходы и прибыль сбирати в правду, безо всякие хитрости».

администрация, обнимавшая все стороны земской жизни. Органами такого наиболее полного самоуправления были «излюбленные старосты», «излюбленные головы», «земские судьи» с их «целовальниками», «судецкими старостами», «людьми добрыми» и иными блюстителями порядка и закона. Более сложная форма земского самоуправления получалась там, где в одном земском округе («губе») соединялось население тяглое со служилым, с детьми боярскими. Там тяглые общины, входящие в состав «губы», оставались в прежнем виде и ведали, в лице своих «земских старост», хозяйственно-податные дела, а суд и полиция, бывшие в руках кормленщика, передавались особому, избранному из детей боярских, «губному старосте». Ему в помощь избирались «целовальники» и «дьяк», составлявшие особое присутствие – «губную избу». Выросшие на старом земском корню, все эти виды самоуправляющихся общин сохранили в себе местные особенности и достигали иногда большой внутренней сложности. В сущности, земская реформа Грозного свелась к тому, что сняла с населения чуждый ему элемент – пришлых кормленщиков с их корыстной и грубою дворней – и освятила ту самодеятельность населения, которая сохранилась от времен уделов с их слабыми княжескими дворами. Правительственный интерес в уездах после отмены кормлений охранялся специальными агентами власти «городовыми прикащиками», «писцами», «дозорщиками». Все же текущие функции управления были в руках местных организаций, получивших с реформой значение государственное.

#### 4. Военно-служилая и финансовая реформа

Реформа местного управления стояла в тесной связи с преобразованиями в сфере военно-служилой. Как только в правительстве родилась мысль об ограничении полномочий наместников и об отмене кормлений, она должна была вызвать другую мысль – о лучшем устройстве и обеспечении служилого класса, из коего выходили кормленщики. Начиная с 1550 года и до 1556 одно за другим следуют мероприятия, направленные к улучшению внутренней организации военно-служилого сословия и его службы, к упорядочению его землевладения, к поднятию военной техники. К сожалению, нет возможности восстановить ход преобразовательной мысли в этой сфере правительственного творчества. Известны только отдельные меры, и притом не всегда в их точном, официальном виде: до нашего времени о некоторых из них дошел только летописный, порой невразумительный рассказ. Первым по времени мероприятием, касавшимся служилого класса, был «приговор» 3 октября 1550 года о том, чтобы образовать особый разряд «помещиков детей боярских лучших слуг», числом тысячу человек, и поместить их на землях кругом Москвы. Эти «тысячники», записанные в особую «Тысячную книгу», должны были «быть готовы в посылки», административные и дипломатические, и должны были нести службу в столице, составляя «царев и великого князя полк» (то есть гвардию). Из их среды составлялся придворный штат; они же по общему ходу дел обратились в правительственную среду, поставившую лиц на руководящие должности по гражданскому и военному управлению. Всего в состав «тысячи» вошло 1078 человек помещиков и вотчинников, образовавших собою столичное дворянство – вершину и цвет служилого сословия.

Такова была первая мера. Одновременно с нею и непосредственно за нею шли меры относительно ратного строя. В том же 1550 году состоялся «приговор государев» об ограничении местничества во время полковой службы. В последующие годы, во время военных операций против Казани, был принят ряд мер «о устройении в полках»: рать была поделена на сотни; во главе сотен поставлены «голова» из лучших воинов, «из великих отцов детей, изящных молодцов и искусных ратному делу». Целью при этом было поднятие дисциплины, и, по-видимому, цель была достигнута: Грозный не раз отмечал, что в походе на Казань 1552 года дисциплина и боевой дух в его войске поднялись до высокого уровня. Можно предположить, что образцом для деления войска на сотни послужило новое устройство московских «выборных стрельцов»

– гарнизонной пехоты. В 1550 году их было в Москве образовано шесть «статей» по 500 человек в каждой; у каждой статьи был начальник из детей боярских; статьи делились на сотни, «да с ними головы» – «у ста человек сын боярский в сотниках». В 1556 году последовало, одновременно с отменой кормлений, и общее распоряжение «о службе всем людем, как им вперед служить». Оно явилось как результат «в поместьях землемерия», учиненного повсеместно для приведения в порядок служилого землевладения. Когда «писцы» и «мерщики» распределили правильно землю между помещиками, отняв лишки у одних и обеспечив до нормы других, тогда царь указал общий для всех размер службы: «...со ста четвертей добрыеугожей земли (то есть со 150 десятин в трех полях) человек на коне и в доспесе в полном, а в дальнш поход о дву конь». Всякий, кто имел право на больший чем 150 десятин размер поместья, должен был давать лишних ратников из своих крестьян по тому же расчету: со ста четвертей конный воин. Кто давал людей сверх указанной нормы, тот имел право на дополнительное «денежное жалованье». Это общее «уложение» вносило порядок и правильность в отбывание ратной службы и давало правительству возможность точного учета его ратных сил. К такому же учету стремилось правительство, составляя в те же годы «родословец» всех видных родов московской знати и высшего слоя дворянства и редактируя официальную «разрядную книгу» с записью служебных назначений на важнейшие должности с 1475 года. Вся совокупность перечисленных мер вела к упорядочению службы, уравниению служебных тягот и вознаграждения за службу и, таким образом, охватывала все стороны военной организации государства.

В прямой связи с военными и административными нововведениями стояли и мероприятия в области финансовой. Было указано, что для уравниения служебных тягот детей боярских решено было привести в порядок их землевладение. Мысль о необходимости справедливости и порядка в этой сфере очень занимала самого Ивана. Сохранилась его записка, направленная к Стоглавому собору, где он пишет: «Да приговорил есми писцов послати во всю свою землю писать и сметити и мои, царя великого князя, и митрополичи, и владычни, и монастырские, и церковные земли, и княжеские, и боярские, и вотчинные, и поместные, и черные... всякие, чьи ни буди, а мерити пашенная земля и не пашенная, и луги, и лес, и всякие угодыя смечати и писати... для того, чтобы вперед тяжа не была о водах и о землях: что кому дано, тот тем и владей... и яз ведаю, чем кого пожаловати, и кто чем нужен, и кто с чего служит, и то мне будет ведомо же, и жилое и пустое». Этот царский приговор о «землемерии» был тогда же, в 50-х годах XVI века, приведен в исполнение. Общая перепись земель («письмо») была предпринята и исполнена, и на ее основании были проведены двоякие меры. Во-первых, пересмотрен порядок поместного владения служилых людей и произведен учет вотчинных (наследственных) земель; во-вторых, проведены существенные перемены в технике податного обложения и введена новая податная единица («соха» в 600 и 800 четей). И то, и другое имело целью справедливое уравниение землевладельцев в их службах, платежах и повинностях. Нет нужды останавливаться на технических подробностях этого дела; надо только заметить, что, как и в других областях, так и в этой аграрной и финансовой, деятельность правительства отличалась широким размахом и руководилась стремлением к общему благу и справедливости. Она повела к переменам не только на местах – в способах обложения и в распределении налогового бремени, но и в центре – в органах финансовой администрации, где наряду с истаринным центральным финансовым учреждением «Большим Дворцом» возникли другие – в виде «Большого прихода» и «Четей». На усложнение финансового управления в центре особенно повлияло введение «кормленного окупа», или «оброка», за отмену кормленщиков с их «кормами». Определяемый на основании нового «письма» сбор с перешедших на самоуправление общин доставлялся в Москву под названием оброка «за наместничь доход и за присуд» и поступал «к царским казнам» в введение особых дьяков. Эти дьяки получили название «четвертных», а их ведомства название «Четей». Из Четей и получали свои «праведные уроки» те служилые люди, которые лишились кормлений и были переведены на денежное жалованье. По имени

учреждений, куда они были «пущены в четь» для получения «четвертных денег», эти лица получили наименование «четвертчиков».

## 5. Церковно-общественное движение

Мы охватим все стороны преобразовательной работы Грозного и его «Избранной рады», если вспомним Стоглавый собор. Созванный по делам церковным в начале 1551 года, собор получил более широкое значение – государственного совещательного органа, которому царь представил на одобрение свой Судебник и «уставные грамоты», содержавшие в себе начала его земской реформы. Что это не была только формальность, ясно из того, как редактировал царь свои вопросы собору по земским делам. Он не только сообщал собору о сделанном, но и просил обсудить и решить то или иное дело: «...о сем посоветуйте все вкупе и уложите, как вперед тому делу быть»; «возрите и дедовы и в батьковы уставные книги, каков был указ». Он просит отцов собора не только «благословения», но и подписей «на Судебнике и на уставной грамоте, которой в казне быти», чтобы закон получил санкцию и церковной власти. По его мнению, необходимо вообще единение властей, церковных и светских, в деле государственного обновления, и он выражает намерение обращаться к собору со всем тем, «что наши нужи или которые земские нестроения». Правильно поэтому некоторые исследователи называют Стоглавый собор не просто церковным, а церковно-земским собором. Программа его в области церковного строения была также широка, как широка была программа государственных преобразований тех лет. По выражению Е.Е. Голубинского, в основе собора лежала «великая мысль совершить обновление церкви путем соборного законодательства». И действительно, все стороны церковной жизни московской были охвачены собором: церковное богослужение, епархиальное архиерейское управление и суд, быт духовенства белого, жизнь монастырей и монашества, христианская жизнь мирян, внешнее благочиние – все вошло в круг суждения собора. И результатом этого суждения была целая книга «Стоглав» – «соборное уложение, по которому имели на будущее время производиться церковное управление и совершаться церковный суд» (слова Голубинского). Напряжение правительственной деятельности вызвало и работу общественной мысли в Москве. Эпоха преобразований сказалась в тогдашней письменности обилием публицистических произведений, посвященных вопросам текущей московской жизни. Обсуждалась и осуждалась система кормлений, которая «дает города и волости держати вельможам, и вельможи от слез и от крови роду христианского богатеют нечистым собранием». Указывается пример «Махмет-салтана, турецкого царя», который «никому ни в котором граде наместничества не дал», а «оброчил вельмож своих из казны своей». Словом, предлагался проект той самой реформы, которая совершилась на деле. Обсуждались далее способы устройства военной силы параллельно с теми мерами, какие принимал Грозный для упорядочения своих войск. Ставились и решались общие вопросы управления, и царю рекомендовалось править не только по собственному разуму, но и с участием разумных советников: «...царю достоит не простовати – с советники совет совещевати о всяком деле», «царем с бояры и с ближними приятели о всем советовати накрепко». Иногда высказывалась даже мысль о необходимости для государя «беспременно всегда держати погодно при себе» широкий совет «всяких людей» «от всех градов своих»; иначе говоря, указывалось на необходимость созыва земских представителей «всея земли». Вопросы государственной практики сплетались у писателей с темами моральными, и любопытно, что вся текущая письменность того времени как бы переживала такой же нравственный подъем, какой переживал молодой Иван. Трудно определить, насколько зависели преобразования Грозного от литературных на него воздействий, и насколько литературные мотивы являлись следствием государственной работы «Избранной рады» и самого царя. Хронология публицистических трактатов не может быть точно определена, авторы их не всегда известны. Поэтому нельзя установить причинной связи и взаимной последовательности

литературного слова и государственного дела. Но взятые в совокупности своей, они производят сильное впечатление и рисуют время реформ Грозного чрезвычайно яркими красками.

## 6. Завоевание Татарских ханств

Достоинства московского правительства выразились и в его внешней политике. В первой половине XVI века вопрос о Казанском «царстве» для Москвы стал ребром. Основанное татарами на территории старого Болгарского царства Казанское государство не отличалось внутренней прочностью. В нем властвовало и ссорилось небольшое число аристократических родов, «мурз» и «беков», которые держали Казань в состоянии постоянного междоусобия. Инородческие племена, вошедшие в состав «царства», не слишком дорожили татарской властью и легко отлагались от Казани, но столь же легко и возвращались в ее подданство. Казанское правительство при всей своей слабости могло, однако, содействовать развитию торговли на Волге и этим привязывало к себе приволжское население. С другой стороны, колонизационный натиск русского племени на Черемисские и Мордовские земли в Поволжье заставлял черемису и мордву искать в Казани оплота против русских, и татары умели оказать им действительную помощь. Они превращали оборонительную войну в наступательную и обрушивались «изгоном» на русские окраины, разоря жилища и пашни и уводя «полон». Черемисская «война жила без перестани» в русском Заволжье; она не только угнетала хозяйство землевладельцев, но засоряла торговые и колонизационные пути. Сообщение Московского центра с русским северо-востоком, с Вяткою и Пермью, должно было совершаться ободом далеко на север. Москва считала Казань опасным и досадным врагом. Другие татарские орды не соседнили с Москвой; они находились за «диким полем»; от них можно было усторожиться. Казань же была в непосредственном соседстве, и хотя до нее самой было недалеко, но близки были те инородческие «языки», которыми она руководила и которых объединяла племенной и религиозной враждой в борьбе с Русью. Соседство это дорого давалось русскому населению, и недаром оно пело в своих песнях, что «Казань-город на костях стоит, Казаночка речка кровава течет».

Когда в начале XVI столетия для московского правительства стала ясна картина казанских междоусобий, оно попыталось вмешаться в них и из них извлечь свою пользу. Во-первых, оно при всякой возможности снаряжало войско для похода на самую Казань. Русские появлялись под стенами Казани, громили ее окрестности, штурмовали самый город; но не могли долго держаться под Казанью, не имея базы для действий, вдали от своих границ, среди беспокойного и враждебного инородческого населения. Чтобы устроить такую базу, Василий III в 1523 году основал на устье реки Суры город Василь (Васильсурск) и посадил в нем гарнизон. Во-вторых, московское правительство попыталось образовать в самой Казани среди взаимно враждовавших дворцовых групп русскую партию и с ее помощью ставить в Казани преданных Москве ханов. Это иногда удавалось, но московские ставленники обычно не удерживались на престоле, и Москве оставалось утешаться тем, что ее политика вела к чрезвычайному усилению Казанской смуты и тем окончательно ослабляла врага. Ко времени, когда вырос Грозный и около него стала рада, казанский вопрос назрел настолько, что не следовало медлить с его окончательным решением. Грозный это понял. Действия против Казани происходили ежегодно с тех пор, как оттуда в 1546 году прогнали данного Москвою хана Шейхали (Шигалея). Московские войска обычным порядком появлялись под Казанью не на долгое время и возвращались назад. В 1550 году обычный поход привел самого Грозного, лично бывшего под Казанью, к важному решению. Остановившись на устье реки Свияги на так называемой Круглой горе (можно сказать, ввиду самой Казани), Грозный по совету Шигалея решил устроить здесь военную базу «Казанского для дела и тесноту бы учинити Казанской земли». С этого момента и началось систематическое завоевание Казани. На 1551 год предположен был широкий план. Ранней весною на верхнюю Волгу, в Угличский уезд, был послан дьяк Выродков готовить лес для Свияж-

ской крепости («церквей и города рубити») и сплавить этот лес по Волге с воеводами, под их охраною, на устье Свияги. Тогда же под Казань собраны были войска «в судех», то есть речным путем по Оке и Волге, и «подем», то есть правым берегом Волги от Нижнего Новгорода. Сверх того на Казань были направлены отряды с Камы и Вятки. Таким образом, Казань была окружена со всех сторон и не могла сосредоточить свои силы для сопротивления на Свияге. В мае 1551 года московский авангард уже был под Казанью и внезапным нападением погромил Казанский посад (поселок под стенами крепости). Затем на Свиягу подошла главная московская рать и началась постройка крепости на Круглой горе. Сплавленного из угличских мест леса хватило только «на половину тое горы»; другую половину города «своими людьми тотчас сделали» на месте и «свершили город в четыре недели». Когда поспела эта крепость-база, ее наполнили всякого рода запасом, военным и продовольственным, и этим закончили операцию.

Основание Свияжского города имело важные следствия, «горнии люди», то есть Чуваши и Черемиса, жившие на правом берегу Волги, учли московский успех и явились к Свияжску с изъявлением покорности и желанья служить Москве.

Для проверки их настроения их послали в поиск под стены Казани, где их татары побили; а затем их старшины ездили в Москву к государю, где их угощали и дарили. За «горними людьми» учла значение Свияжска и самая Казань. Татары вступили в переговоры с московскими воеводами и сдались на волю Москвы. Они выдали своего двухлетнего хана Утемишь-Гирея и били челом, чтобы Грозный вернул им свергнутого ими хана Шигалея. Грозный согласился и «пожаловал государь царя Шигалея Казанию». Но при этом в Москве решили разделить Казанское ханство: Шигалей получил «Луговую сторону всю да Арскую; а Горняя вся сторона к Свияжскому городу, понеже государь Божиим милосердием да саблюю взял до их челобитья». Это решение не понравилось ни Шигалею, ни казанцам. «Царь Шигалей государево дело похвалил, а того не залюбил, что Горняя сторона будет у Свияжского города, а не у него в Казани». И казанские послы говорили боярам, что «того им учинити не мощно, что земля разделить». Однако Москва настояла на своем. Утемишь-Гирей с матерью его Сююнбекой был доставлен в Москву; весь русский полон освобожден от неволи<sup>38</sup>; Шигалей был боярами посажен в Казани на царство. Казалось, дело пришло к окончательному решению и Москва торжествовала. Но скоро начались новые осложнения. Шигалей возбудил общую ненависть в Казани тем, что, укрепляя свою власть, «загрубил казанцам добре»: убил сто человек из враждебной ему знати.

Но «грубость» обратилась против него, и он понял, что ему «прожить в Казани не мощно». Из Москвы ему дали совет ввести в Казань московский гарнизон, но он отказался: «...бусурман де есми, не хочу на свою веру стати». Тогда в Москве созрело решение не поддерживать более Шигалея, а склонить казанцев принять вместо хана государева наместника, который бы держал Казань в порядке военной силой и содействовал окончательному выводу из ханства остатков русского полона, так как татары «куют и по ямам полон хоронят». После переговоров с Шигалеем и с теми кругами в Казани, которые шли на подчинение Москве, в феврале 1552 года Грозный послал в Казань Алексея Адашева свести Шигалея и вместо него назначил наместником князя С.И. Микулинского. Но в последнюю минуту, перед самым въездом в Казань Микулинского, казанцы «изменили», затворили город и отказались повиноваться московскому государю. Во всем крае вспыхнула война. Казанцы подняли против русских не только луговую сторону, но и «горних людей», так что Свияжск оказался в осаде. Москве предстояла тяжелая кампания. Дело осложнялось еще тем, что казанцы снеслись с другими

<sup>38</sup> Боярам было выдано в Казани сразу 2700 русских пленников; а всего, по московскому счету, возвратились на Русь из Казанского царства 60 000 человек только через Свияжск «вверх Волгою», не считая тех, кто вернулся иным путем – на Вятку, Пермь, Вологду: «все по своим местам, кому куды ближе, туды пошли».

татарскими центрами, получили из Ногайской орды воинскую помощь и хана Едигер-Магмета, которого и посадили вместо Шигалея в Казань; кроме того, они просили помощи и у Крыма.

Еще с ранней весны 1552 года Москва приняла некоторые военные меры. В Свияжск было послано подкрепление гарнизону, болевшему там цингю. На всех сообщениях Казани («по всем перевозам» на Каме, Вятке и Волге) были поставлены отряды, «чтобы воинские люди в Казань да ни из Казани не ходили». В самой Москве шла работа по мобилизации возможно больших сил. Было решено одну рать послать Окою и Волгою в судах к Свияжску, другой идти сухим путем с Коломны на Муром и Свияжск. Тяжелая артиллерия была заблаговременно отправлена водою. Сам Грозный собирался в поход со своим полком вместе с сухопутною ратью. В июне началось движение сухопутной рати на Коломну, но неспешное, так как ожидали возможного нападения крымцев на южные окраины Руси. Эти ожидания сбылись. Крымский хан подошел к Туле и осадил ее, но был вскоре отражен посланными из Коломны отрядами. Только тогда, когда уверились, что крымцы убежали домой и всякая опасность с юга миновала, московская рать двинулась с Коломны на восток, через «поле» к Свияжску, куда прибыла только в середине августа. Здесь сказалось все значение Свияжского города, «воистину зело прекрасного», как выражается Курбский. Рать пришла туда «яко в свои дома от того долгого и зело нужного пути». В Свияжск, по сообщению Курбского, был всего достаток, чего бы душа не восхотела. Туда было доставлено водою огромное количество провианта, даже явилось «купцов бесчисленное множество» со всяким товаром.

Оттуда и была начата правильная осада Казани, шедшая около полутора месяца. Дело было подготовлено предусмотрительно и к нему были применены все правила тогдашнего осадного искусства. Осаждающие шли к городу траншеями, в которых располагалась пехота с огнестрельным оружием. Осадная артиллерия действовала не только с закрытых батарейных позиций, но даже с «вежи» – подвижной деревянной башни, на которую подняли 10 крупных орудий и 50 мелких пушек. Против стен крепости пустили в ход подкопы – дело новое для московской техники. Впервые московские люди познакомились с минным делом и испытали на себе его вред в 1535 году, когда литовские войска с помощью подкопа взяли Старо дуб. Гарнизон Старо дуба потому «того лукавства подкопывания не познал, что наперед того в наших странах не бывало подкопывания». Прошло всего пятнадцать лет, и у Москвы явились свои «подкопщики». Под Казанью Грозный имел «немчина, именуема Размысла<sup>39</sup>, хитра, навична градскому разорению», и поручил ему вести подкопы. Их вели несколько сразу, причем царь спешил с ними: он велел Размыслу на меньшие подкопы «учеников отставить, а самому большего дела беречи», чтобы поспеть скорее к развязке. Развязка последовала 2 октября; после взрыва главного подкопа русские проникли в крепость и взяли ее. Казанское царство пало, и Казань стала русским городом.

Хотя Грозный и упрекал бояр за то, что они «поотложили Казанское строение» (после взятия самой Казани мало заботились об устройстве завоеванного края), однако Москва хорошо воспользовалась одержанной победой. Среднее Поволжье было прочно закреплено за Москвой рядом крепостей, поставленных в инородческих областях, и энергической колонизацией вновь приобретенных хлебородных пространств в Поволжье. Прошло всего два-три десятилетия со времени «Казанского взятия», и самая Казань, и все Волжское побережье до самой Астрахани стали русской страной. До Астрахани русские отряды добрались тотчас же по взятии Казанского царства и, воспользовавшись распрями в среде ногайских князьков, в 1556 году заняли Астрахань «на государя». Укрепившись в этом городе «как им бесстрашно сидеть», московские воеводы «по Волге казаков и стрельцов расставили и отняли всю волю

<sup>39</sup> Карамзин принял летописное слово «Размысла» за имя нарицательное и пояснил: «...немцкому размыслу, то есть инженеру». В словарях Срезневского и Даля «размысл» имеет несколько значений, но ни одного в смысле «инженера». Вероятнее, «Размысл» есть испорченная фамилия «Размуссен». Датский гонец Peter Rasmussen в 1602 году в Москве именовался «Петр Размысл».

у ногай и у астраханцев рыбные ловли и перевозки все». Таким образом, выход в Каспийское море, на азиатские рынки, оказался в полном распоряжении Москвы.

Блеск побед, одержанных над вековыми врагами татарами, уничтожение постоянной опасности для русских поселений от татарской и черемисской «войны», приобретение новых богатых земель для русского хозяйства и Волжского пути для русской торговли – все это было учтено и доставило Грозному необыкновенную славу. От риторического произведения московского книжника до бесхитростной народной песни, во всех произведениях слова молодой московский царь прославлялся как герой. До народного слуха не доходили суждения о личном малодушии Грозного в тяжелые минуты общего штурма Казани, когда, по словам Курбского, у царя от страха изменилось будто бы лицо и сокрушилось сердце и надобно было другим взять за повод его коня, чтобы подвести царя к месту боя. С этою славою Грозный вошел в последующие годы своей жизни и деятельности.

## Глава третья Переходный период

### 1. Болезнь Грозного

Казанский поход 1552 года и последовавшая за ним тяжелая болезнь Грозного (в марте 1553 года), по-видимому, произвели перелом во внутреннем настроении царя. Он возмужал от необычных переживаний кровавой борьбы, от впечатлений путешествия по инородческому краю к далекой Казани, от выпавшего на его долю блестящего политического успеха. Сознание своего личного главенства в громадном предприятии должно было в глазах Грозного поднять его собственную цену, развить самолюбие и самомнение. А между тем окружающие его сотрудники и друзья, «рада» по па Сильвестра, продолжали смотреть на царя как руководители и опекуны. В дни наибольшего торжества своего под Казанью Грозный, по его словам, еще испытывал на себе всю силу влияния окружающих. Обратный путь от Казани в Москву царю пришлось совершить не так, как бы он хотел; он говорит, что его «аки пленника всадив в судно, везяху с малейшими людьми сквозе безбожную и неверную землю». Действительно, Грозный плыл от Казани до Нижнего Волгой и лишь от Нижнего поехал «на конех». Ему казалось, что люди, заставившие его избрать такой маршрут, рисковали его жизнью, дав ему малый конвой в незамиранных инородческих областях от Казани до Васильсурска и Нижнего; в негодовании он восклицал: «...нашу душу во иноплеменных руки тщатся предати». Если под Казанью Грозный уже тяготился опекою, то в Москве в торжествах, которые следовали по случаю победы, в чаду похвал, благодарений и личного триумфа, молодой царь должен был стать еще чувствительнее к проявлениям опеки. Именно таково должно было быть настроение Грозного, когда он тяжело захворал и его советники, привыкшие руководить царем, стали лицом к лицу с возможностью потерять его, а с ним потерять и свое влияние. В критические дни, когда ожидали скорой кончины царя, встревоженный кружок Сильвестра и Адашева проявил больше заботы в своем будущем, чем преданности умиравшему царю и его семье. Грозный это узнал и оценил, и тяготившая его опека стала ему ненавистна.

Вот что произошло в роковые дни царской болезни. По старому русскому обычаю, трудно больному царю прямо сказали, что он «труден», и государев дьяк Иван Михайлов «вспомянул государю о духовной». Царь повелел «духовную совершити» и в ней завещал царство своему сыну князю Дмитрию, родившемуся во время Казанского похода и бывшему еще «в пеленицах». Кроме Дмитрия, в царской семье было два князя: брат родной царя Юрий Васильевич и брат его двоюродный Владимир Андреевич (сын загубленного великой княгиней Еленой удельного Старицкого князя). Ни Юрий, ни Владимир не могли, по московскому порядку, наследовать царю, так как Москва уже твердо держалась наследования по прямой нисходящей. Тотчас по составлении духовного завещания Иван привел ко кресту «на царевичево княже-Дмитриево имя» свою «ближнюю думу», и бояре при самом царе с полною готовностью присягнули. Отсутствовал только князь Д.И. Курлятев, сказавшись больным. Это был член «Избранной рады», именно тот «единомысленник» Сильвестра, которого Сильвестр, по словам Грозного, к царю «в синклитию припустил», то есть провел в ближние бояре. После того как царь «приводил к целованию бояр своих ближних», на другой день «призвал государь бояр своих всех» и лично, сообщив им о своем завещании, просил их присягнуть Дмитрию. Но он желал, чтобы присяга шла не при нем, ибо ему было «истомно», а при его ближних боярах, в «Передней избе» дворца. В эту минуту и произошло неожиданное для Грозного осложнение. Бояре при тяжелом больном устроили «брань велию и крик и шум велик». Они не хотели «пеленичнику служить» и говорили царю, что при малолетстве Дмитрия править будут его родные по матери

Захарьины-Юрьевы, «а мы уже от бояр до твоего возрасту беды видели многие», «а Захарьиным нам, Данилу с братией, не служивати». Грозному пришлось сказать «жестокое слово»: он от одних потребовал присяги; другим напомнил, что они уже целовали крест и должны стать за его сына и «не дать боярам сына моего извести некоторыми обычаями»; а Захарьиным (брату царской жены Данилу Романовичу и его двоюродному брату Василию Михайловичу) государь молвил: «...а вы, Захарьины, чего испужалися? Али чаете, бояре вас пощадят? Вы от бояр первые мертвецы будете! И вы бы за сына за моего да и за мать его умерли, а жены моей на поругание боярам не дали». В конце концов бояре ушли в Переднюю избу и там после многих перекоргов и «мятежа» все присягнули Дмитрию. После этого Грозный велел привести к присяге в своем присутствии и князя Владимира Андреевича Старицкого. Но и тот едва согласился присягнуть малютке-племяннику, несмотря на угрозы государя и уговоры бояр; да и мать князя Владимира княгиня Ефросиния едва согласилась привесить к присяжной записи своего сына его княжью печать. Когда Грозный встретил неожиданное сопротивление в вопросе о воцарении его сына, то между прочим сказал боярам: «...коли вы сыну моему Дмитрию креста не целуете, ино то у вас иной государь есть?» Недолго было Грозному ждать ответа на этот вопрос. Тотчас же выяснилось, что другой «государь» был действительно боярам намечен. Это не был князь Юрий Васильевич, ибо о нем никакой речи не велось по его малоумию<sup>40</sup>. Это был именно князь Владимир Старицкий. Грозный собрал много сведений по этому делу. Он удостоверился, что князь Курлятев уклонился будто бы по болезни от присяги вместе с другими ближними боярами, так как вел переговоры с князем Владимиром, «хотя его на государство». Грозному, далее, стало известно, что сам Сильвестр стоял на стороне Владимира и ссорился из-за него с ближними боярами. Узнал затем Грозный, что его ближний боярин, слуга его отца, князь Д.Ф. Палецкий, поцеловав крест Дмитрию, сейчас же завел сношения с Владимиром как с будущим царем, о том, чтобы по воцарении тот не обидел уделом малоумного князя Юрия Васильевича, бывшего в свойстве с Палецким. Наконец, на глазах самого Грозного отец его любимца Адашева «почал говорить» против царской родни Захарьиных-Юрьевых, значит, не желал воцарения Дмитрия. Все эти сведения потрясли душу Грозного. Они вскрыли пред ним, больным, то, чего он не узнал бы здоровым. Его друзья и сотрудники, служа ему, не любили его семьи и в трудную минуту чуть не открыто ей изменили. В трудную минуту они не постеснялись выразить самому Грозному свои чувства, далеко не приятные для него, и указали ему на опасное для него значение в династии незначительного удельного князя Владимира. «И оттоле, – говорит официальная летопись, – бысть вражда велия государю со князем Владимиром Андреевичем, а в боярах смута и мятеж».

## 2. Расхождение царя и «Избранной рады»

Грозный выздоровел к маю 1553 года, а его маленький сын Дмитрий, ставший предметом дворцовой распри, утонул в июне того же года. Вся суета с завещанием Грозного и с присягой Дмитрию, таким образом, оказалась напрасной. Но последствия ее были тяжки. Она сделала явной и очень обострила вражду бояр – «Избранной рады», с одной стороны, и «ближних бояр» и царицыной родни, с другой. По-видимому, эта вражда побудила даже к попыткам бегства в Литву тех лиц, которые считали себя небезопасными в Москве. Именно летом 1554 года царю стало известно о покушении целого кружка бояр изменить Москве и уйти «к королю». Во главе дела стоял боярин князь Семен Васильевич Лобанов-Ростовский, а с ним в уговоре были «братья его и племянники». Следствие выяснило, что мысль о побеге князя Семена зародилась со времени государевой болезни, что в 1553 году князь Семен вступил в тайные сно-

<sup>40</sup> Если бы Юрий был дееспособен, он был бы главным соперником племяннику своему Дмитрию. Но он был невменяем. Курбский о нем прямо говорит, что он «был без ума и без памяти и бессловесен: тако же, аки див якой, родился». До самой смерти (1563 год) он не помянут ни в каком деле – ни в актах, ни в летописях.

шения с бывшим тогда в Москве литовским послом Станиславом Довойной и выдал ему некоторые правительственные секреты, что он затем послал в Литву своего холопа Бакшея, а за ними и собственного сына князя Никиту подготовить переезд в Литву для прочих участников «измены». Причину своего недовольства князь Семен объяснял тем, что Грозный «их всех не жалует, великих родов бесчестит, а приближает к себе молодых людей» (то есть незнатных); «да и тем нас истеснил (говорил он), что женился – у боярина у своего дочь взял, понял робу свою: и нам как служитьи своей сестре?» Особенно страшной эта опасность «служить своей сестре» показалась князю Семену тогда, когда заболел государь и по его смерти могли всем завладеть Захарьины. Так в деле боярской измены 1554 года зазвучал тот же мотив, который звучал в тяжкие дни государевой болезни; но теперь в нем оказалась иная основа. Дед Грозного был женат на греческой царевне, его отец женился на княжне из «большого» выезжего рода, а Грозный «понял робу свою» из простого не княжеского рода. В этом, оказывается, было унижение для «великих родов», которым приходилось служить «молодым людям» Захарьиным и «своей сестре». Очевидно, княжата считали брак Грозного неразумным, несоответствующим ни его, ни их достоинству, и возможность регентства над Дмитрием именно Захарьиных они учитывали, как особое унижение для всей своей среды.

Не легко было личное положение Грозного между враждующими кругами. Ранее того, как вражда вскрылась в откровенном столкновении 1553 года, Грозный мог ее не знать или сознательно не замечать. Сильвестр, Адашев и княжата были его правительством, а семья, Захарьины и ближние бояре, с ними согласные, были его интимным кругом, и между ними могли существовать приличные отношения. Теперь произошел разрыв, и за Сильвестром и княжатами стало имя князя Владимира. Прежнего доверия к «Избранной раде» быть не могло, но могло быть перед нею чувство страха. Вспомним, что, по мнению Грозного, Сильвестр и Адашев «ни единые власти не оставиша, идеже своя угодники не поставиша». Царю казалось, что весь аппарат власти был в руках у рады. Когда он и ближняя дума осудили князя Семена Ростовского в ссылку на Белоозеро, то, по словам Грозного, поп Сильвестр со своими советниками «того собаку почал в велицем бережении держати и помогати ему всеми благими, и не токмо ему, и всему его роду». Несмотря на расправу с этим «изменником», тогда «всем изменникам благо время улучися; нам же бо отголе в большем утеснении пребывающим». Таким образом, справедливо или нет, но вполне искренне Грозный считал себя в зависимости и в «утеснении» от тех, кому больше не верил. Этим и объясняется, почему он терпел около себя «раду» еще долго после душевного разрыва с нею в 1553 году. Он ее боялся; она же продолжала выполнять свою правительственную работу по плану, который был создан в начале вызванных ее влиянием общих преобразований. По-видимому, только к 1557 году Грозный более или менее освободился от чувства зависимости в отношении Сильвестра и его «друзгов и советников». В это приблизительно время заканчивается работа над внутренними преобразованиями (как будто бы их программа признается исчерпанной) и выступают на первый план вопросы внешней политики. Падение Казанского царства возбудило враждебную энергию крымцев, и в 50-х годах XVI века Москве приходилось с особым напряжением вести охрану своих южных окраин. А кроме того, на западных границах государства рождались осложнения со Швецией и, главным образом, с Ливонией. В понимании общего политического положения и в определении очередных задач московской политики царь круто разошелся с «радою» и обернулся на запад в то время, когда «рада» упорно оборачивала его на юг. С этого началась эмансипация Грозного.

## Глава четвертая

### Последний период деятельности Грозного

#### 1. Балтийский вопрос и опричнина. Вопросы внешней политики. Крым и Ливония

Для нас нет возможности пространно излагать все обстоятельства великой борьбы XVI века за торговые пути и берега Балтийского моря. В этой борьбе Москва была лишь одной из многих участниц. Швеция, Дания, Польша и Литва, Ливония, Англия, Северная Германия – одинаково были втянуты в борьбу, торговую и военную, и Москве невозможно было уклониться в том, что происходило на ее западных границах, эксплуатировало ее и угнетало. В зависимости от того, как складывались отношения на Балтике, московская торговля или оживала, или замирала; гавани или открывались, или становились недоступными; сообщения с Западными странами или налаживались, или прерывались. К середине XVI столетия западный Московский рубеж стал особенно страдать от тех мероприятий, какие принимала Ливония из чувства страха перед ростом Москвы. Она пыталась совсем разобщить Москву с Западом. Под влиянием внушений, шедших из Ревеля, и Ганзейские города с Любеком во главе стали держаться той же политики и действовать против Москвы. Обе силы, и Ганза, и Ливонский орден, желали пользоваться московским рынком и извлекать из него необходимые им товары (воск, меха, лен, коноплю, кожи), а взамен давать ему возможно менее, и в особенности не давать оружия и других боевых припасов и не пропускать в Москву «цивилизаторов» – военных людей, – врачей и техников. Известна история одного из широких предпринимателей того времени Ганса Шлитте. Он желал втянуть Москву в круг политических интересов Средней Европы и снабдить ее людьми и средствами для участия в европейской антитурецкой лиге. Но власти Любека в 1548 году не пропустили в Москву ни Шлитте, ни нанятых им людей, ибо Ливония представила Ганзе свои доводы о крайней опасности всякого содействия Москве. Можно сказать, что благодаря такой тенденции Москва была поставлена в тяжелую зависимость от своего западного соседа. Она без его разрешения не могла ничего получить из Европы, не могла послать туда своих купцов, не могла пользоваться ближайшими к ней балтийскими гаванями. Понятна поэтому та радость, с какою в Москве встретили английских купцов, появившихся в 1553 году в устьях Северной Двины; понятна та готовность, с какою Грозный оделил их торговыми привилегиями.

Но возможность использовать северный путь сношений с Европой не уничтожила желания пользоваться и западными путями, более короткими и удобными, именно на Ригу и Ревель. Оба они были всецело в руках Ливонии. А Ливония в данную минуту являла зрелище внутреннего разложения, и Москве, хорошо знакомой с состоянием соседки, представлялся большой соблазн воспользоваться минутой и выйти к морю. Всем было ясно положение Ливонского ордена. В этой стране господствовала анархия, и вся жизнь Ливонии шла на антагонизмах. В основе их лежала вражда национальная – коренного литовского и финского населения к завоевателям немцам. К ней «присоединялась вражда социальная – крестьян к феодалам и горожан к тем и другим. Не было в стране и политической солидарности. Магистр Ливонского ордена всегда враждовал с другими церковными властями, в особенности с рижским архиепископом; а города, рано достигшие свободы и самостоятельности, тянулись к Ганзе и при случае захватывали в свои руки руководство политическими отношениями. Городская аристократия не желала повиноваться ни ордену, ни архиепископу. Наконец, проникшая в Ливонию реформация создала в ней и религиозный антагонизм. Она лишила орден внутреннего единства и во

все классовые организации внесла рознь и расшатанность. Для Ливонии это было последним ударом, за которым должно было последовать распадение.

В Москве вряд ли представляли себе во всей совокупности содержание «балтийского вопроса» и всю сложность отношений между Прибалтийскими государствами. Но там, конечно, хорошо понимали свои ближайшие интересы и ближайшую политическую обстановку. Кризис Ливонии, ее внутренняя шаткость и военная слабость не были секретом для московских дипломатов. Ими была учтена возможность и своевременность вмешательства в ливонские дела с целью приобретения тех гаваней, которые были нужны для русской торговли и ею до сих пор командовали. Нарва, за нею Ревель, за ними, в случае удачи, Гапсаль и даже Рига – вот предмет московских вожделений. Но в Москве понимали также всю сложность собственного политического положения. Блестящий успех Москвы на востоке и, с покорением татарских ханств, выход ее на Каспий, к восточным рынкам, взбудоражили мусульманский мир, подняли Крым, смутили Турцию. Москва могла ждать нападений с юга и юго-востока. Эта опасность представлялась особенно страшною для тех осторожных людей, которые знали силу турок и страх, внушаемый ими Средней Европе. Москва в то же время не могла добиться мира с Литвою и должна была довольствоваться кратковременными перемириями с нею то на два, то на шесть лет. Пограничные отношения со шведами были так запутаны, что в 1555 году привели к войне, шедшей вяло и законченной в 1557 году удачным для Москвы миром на 40 лет. (Для Москвы эта война послужила, по-видимому, доказательством слабости Швеции.)

Московские умы, занимавшиеся вопросами внешней политики, должны были в то время держаться двоякой «ориентации». Для одних главной задачей момента было укрепление за Москвою сделанных ею завоеваний и оборона, по возможности активная, южных границ. Для других очередным делом представлялось приобретение торговых путей на западе и выход на Балтийское море. Первые считали главным врагом Москвы крымцев, а за ними турецкого султана. Вторые считали своевременным удар на Ливонию, которой не могли в данную минуту помочь ни Швеция, ни Литва, только связавшие себя мирными трактатами с Москвою. Первых следует считать более осторожными политиками, чем вторых; вторые же, без сомнения, были более чуткими и смелыми людьми. К первым принадлежали Сильвестр и его друзья – «рада»; на сторону вторых стал сам Грозный. Если бы сторона Сильвестра была последовательна, она ограничилась бы теми мерами против крымцев, которые внушались реальною обстановкою тех лет. Надо было держать наготове оборонительные войска на границах, посылать в «дикое поле» разведчиков и при случае самим делать поиски против татар, чтобы внушить им некоторый страх. После падения Казани и Астрахани крымцы могли ждать от Москвы удара и на них самих. Вероятно, под влиянием «рады» такого рода меры и принимались; но их неожиданно большой успех вскружил наиболее впечатлительные головы и внушили «раде» мечту о немедленном завоевании Крыма. Мудрая осторожность была забыта, и осмотрительную деловую программу заменили воздушные замки. Дело в том, что предпринимаемые против Крыма в 1555-1560-е годы наступательные действия, благодаря счастливой случайности, из коротких набегов и разведок переходили во внушительные демонстрации. Таковы были набеги И.В. Шереметева, Д. Ржевского, князя Дмитрия Вишневецкого и других. Ржевский в 1556 году добрался до берегов Черного моря (у Очакова) и поднял на себя «весь Крым». В тех же местах годом позже действовал Вишневецкий, пытавшийся устроить себе постоянную базу на острове Хортице на Днепре (где потом стала знаменитая «Сечь»). На Азовском море в то же время громил татарские улусы казачий атаман Мишка Черкашенин. Видя особый успех всех этих и подобных предприятий и учитывая засуху и эпидемии, истощавшие в те годы ногайские улусы, «Избранная рада» поддавалась соблазну и стала подбивать Грозного, «да подвигнется сам с своею главою с великими войска на Перекопского (хана), времени на то зовущу». По-видимому, такие увещания бывали не раз, а много раз. Курбский говорит о себе и своих единомышленниках: «... мы же паки о сем и паки ко царю стужали и советовали: или бы сам пот-

щился итти, или бы войско великое послал в то время на орду». Но царь, к великому огорчению «рады», не послушал ее, а устремил свое внимание на запад.

Трудно теперь решать, на что в ту минуту более «звало время» – на Ливонию или Крым. Но ясно, что поход «с великими войсками» в Крым представлял величайшие трудности, а Ливония была под рукою и явно слаба. Наступать через «дикое поле» на Перекоп тогда надобно было с тульских позиций, так как южнее Тулы уже «поле бе», то есть начинались необитаемые пространства нынешней черноземной полосы, и в них не было еще таких опорных пунктов, какими в свое время против Казани стали Васильсурск и Свияжск. Активная оборона южной окраины и ее постепенное заселение были делом исполнимым и целесообразным, и поскольку это дело занимало «раду» Сильвестра, постольку «рада» была права. Но фантастический проект перебросить через «дикое поле» всю громаду московских полевых войск на Черноморское побережье был, вне всякого сомнения, неисполним. Он являлся вопиющим нарушением осторожной последовательности действий. Только через двадцать лет после этого проекта Москва достигла заметных результатов в деле заселения и укрепления «дикого поля» и перенесла границы государственной оседлости с тульских мест приблизительно на реку Быструю Сосну. В начале XVII века с Быстрой Сосны, от Ельца и Ливен, первый самозванец предполагал начать свой поход против татар и турок. Но и этот поход был, конечно, политической мечтой авантюриста, а не зрелым планом государственного дельца. В исходе XVII века с еще более южной базы пробовал атаковать Крым князь В.В. Голицын, но, как известно, безо всякой удачи. Позднейшие и более удачные походы в Черноморье Петра Великого и Миниха столь же наглядно, как и походы Голицына, показали громадные трудности дела и послужили тяжким, но полезным уроком для последующих операций.

Отказываясь «подвигнуться» против Крыма сам «с великим войском», Грозный был несомненно прав. Хотя Курбский обругал его советников, отвративших будто бы царя от Крымской войны, «ласкателями» и «товарищами трапез и кубков», однако эти ласкатели – если вина на них – были на этот раз разумнее «мужей храбрых и мужественных», толкавших Грозного на рискованное, даже безнадежное дело. «Время звало» Москву на запад, к морским берегам, и Грозный не упустил момента предъявить свои притязания на часть ливонского наследства, имевшего стать выморочным. Не сам, конечно, Грозный поставил пред московским правительством ливонский вопрос. Этот вопрос получил важность очередного в системе политических отношений Москвы силою вещей, всем ходом сношений с Ливонией. С 1554 года в этих сношениях наступил кризис: Москва потребовала, чтобы Ливония стала к ней в даннические отношения. Сама по себе дань не имела большого значения, и требование дани не опиралось на бесспорное юридическое основание. Все понимали, что московское притязание есть только предлог и символ. Ссылаясь на то, что платеж дани был условлен ее договором 1503 года, Москва видела в этом знак политической зависимости от нее если не всей Ливонской федерации, то Дерптского округа, и обязывала Ливонию не вступать в дружественные отношения с Польшею и другими странами. Согласие платить дань значило бы признание Ливонией своей зависимости от царя; неуплата же дани давала повод к московскому вмешательству в ливонское дело. Около трех лет шли бесплодные попытки ливонцев уклониться от дани; Ливония пережила в эти годы острое междоусобие и несчастную войну с Польшей. В отчаянии она заключила с польским королем Сигизмундом-Ав-густом союз против Москвы (в сентябре 1557 года); а в исходе этого года русская рать стояла уже на границах Ливонии. В январе 1558 года она вошла в Ливонию, а польский король никакой помощи ливонцам не присылал.

Так началась знаменитая Ливонская война Грозного. Удар врагу был нанесен своевременно – тотчас после того, как Ливония ушла под протекторат другого государства, и ранее чем могла поспеть оттуда к ливонцам помощь. В Москве не было заметно и тени недовольства начатой войной; даже участник «Избранной рады» Курбский с воодушевлением повествует о Ливонском походе и о своем в нем участии. И только Грозный ядовито рассказывает о

несочувствию Сильвестра и Адашева этой «Германской» войне. «И от того времени (говорит он о начале войны) от попа Сильвестра и от Алексея и от вас – какова отягчения словесная пострадах!... еже какова скорбная ни сотворится нам, то вся сия Герман ради случися!» Но вряд ли можно думать, что в «попе» и в «Алексее» говорила политическая прозорливость, а не простая досада на непослушного им царя. Никто в Москве не мог тогда представить себе, до какой степени осложнится дело с Ливонией; никто не ждал, что против Москвы станут все претенденты на ливонское наследство – и Швеция, и Дания, и Речь Посполитая, а за ними император и вся вообще Германия. Москва радовалась скорой и легкой победе, не предвидя, что она поведет к тяжким военным испытаниям и к роковому внутреннему расстройству.

## 2. Ход Ливонской войны

В самых общих чертах ход Ливонской войны был таков. В начале 1558 года московские войска опустошили Ливонию почти до Ревеля и Риги. Весною они взяли Нарву и несколько других ливонских крепостей. В июле после недолгой осады сдался Дерпт (Юрьев). Ливонцы сопротивлялись слабо, искали мира у царя в Москве, просили помощи на западе. При этом сказался уже внутренний распад Ливонии. Даже в минуты смертельной опасности страна не могла достичь единения: Эстляндия и остров Эзель обратились за покровительством и помощью к Дании, рижский архиепископ – к Польше, магистр ордена – к Швеции. Этим подготовлялось общее вмешательство в деле Ливонии и ее раздел. В 1559 году натиск русских повторился; опять московские отряды появились под Ригию и проникли даже в Курляндию. Весною приехало в Москву датское посольство по ливонскому делу и исхлопотало у Грозного для Ливонии перемирий на полгода («от мая до ноября»). Датчане заявляли, что Ревель учинился «послушен» их королю, и потому просили царя не трогать ревельских мест. Давая перемирие «для кроткого предстояния» датского короля, Грозный, однако, отвел его притязание на Ревель, заявив решительно, что будет держать Ревель «в своем имени». В Москве ждали, что во время перемирия магистр Ливонии явится в Москву лично или пришлет «своих лучших людей» для того, чтобы «за свои вины добились челом» и получить мир, «как их государь пожалует». Но магистр не приехал, а ливонцы воспользовались перемирием для того, чтобы найти покровителей и союзников против Москвы. Они искали их на имперском сейме в Германии, в Швеции, Дании, Польше – словом, там же, где и год тому назад, – и Ливония в этих поисках окончательно распалась. В течение 1559–1561 годов оформилось это распадение тем, что Эстляндия вошла в подданство Швеции, остров Эзель стал под покровительство Дании, магистр отдал Лифляндию польскому королю с сохранением над нею номинальной верховной власти императора и, наконец, сам магистр обратился в герцога Курлянского с явным подчинением тому же королю и императору.

Секуляризацией Курляндии закончился процесс уничтожения средневековой Ливонской федерации, и Грозному пришлось теперь считаться с ее наследниками. Значительную долею выморочного наследства он фактически владел, но юридически за ним, кроме Дании, никто ничего не хотел признавать. Все, что московские войска захватили, как до перемирия 1559 года, так и после в кампаниях 1560–1561 годов (Мариенбург, Феллин) Москве предлагалось передать более законным владельцам. Однако такого рода требования предъявлялись Грозному не круто и не прямо, так как за Ливонские земли схватились сразу все претенденты и все сразу же перессорились независимо от Москвы. Дании предстояла немедленная борьба со Швецией за Эстляндию, и обе эти державы не могли одновременно считаться еще и с Москвою. Поэтому Дания предложила Грозному полюбовный раздел в пределах Ливонии, и Грозный пошел на эту сделку в такой форме, что датские послы били ему челом от его приятеля Фредерика, короля Датского и Норвежского, о том, чтобы ему, Ивану, отписать к Датскому королевству его долю «в моей великого государя Ивана, Божией милостию царя всея Русин, в

отчине, в Ливонской земле»; и царь датского короля «для его челобитья и прошения» пожаловал, его долю ему отписал. Это было в 1562 году, а восемь лет спустя между Данией и Грозным состоялось новое соглашение, по которому обе стороны, признавая верховные права на Ливонию за Грозным, передали эту страну целиком, с городами, «которые ныне за Литовским и за Свейским» (государями) – в обладание датскому «королевичу», герцогу Магнусу. Грозный «учинял его на своей отчине, на Лифлянской земле королем» и писал: «...и корону ему дадим от своей руки царского величества и быти ему нам подданным голдовником»<sup>41</sup>. Такого рода компромиссами устранялась опасность войны за спорные города и земли между Москвою и Данией, но не достигалось внутреннее согласие. Обе стороны вели свою особую политику и не столкнулись в конце концов лишь потому, что военное счастье отвернулось от них и перешло на сторону их врагов – Швеции и Речи Посполитой. Равным образом Швеция не сразу вступила в открытую борьбу с Москвою. Она находилась накануне своей «семилетней» (1563–1570) войны с Данией, предметом которой, между прочим, было и обладание Эстляндией. Поэтому шведам нельзя было дробить сил, и, занимая своими войсками поддавшийся им Ревель, они в то же время вели мирные, хотя и не особенно благожелательные переговоры с Москвою. В 1561 году между Москвою и Швецией был даже подтвержден мирный договор прежних лет по случаю вступления на престол нового шведского короля Эриха XIV «по тому ж, как прежде сего с отцом его было перемирье». Зато король Польский Сигизмунд-Август немедля после того, как заключил договор о протекторате с властями Ливонии (1559 год), предъявил Грозному требования о прекращении войны в Ливонии (в январе и августе 1560 года), поставив сроком для этого прекращения 1 апреля 1561 года. В то же время королевские отряды появились на театре войны, и литовский гетман Ходкевич понес первое поражение от Курбского. Так для Москвы война Ливонская перешла в войну с королем, или «с Литвою».

Грозный бодро встретил это тяжелое политическое осложнение. Он не оставил Ливонии и в то же время перенес войну в пределы Литовского великого княжества. В начале 1563 года ему удалось нанести врагу чувствительный удар. Большое московское войско осадило и взяло Полоцк, а передовые его отряды явились пред Вильной. Падение Полоцка произвело огромное впечатление в Речи Посполитой: несмотря на большую победу, одержанную гетманом Н. Радзивилом над московской ратью в 1564 году, Литва хотела мира. Она шла даже на то, чтобы добыть длительное перемирие ценою уступки Москве занятых ею частей литовской территории. Возможность приобрести таким образом Полоцк соблазняла Грозного. Но сам он не решил дела, а созвал (28 июня – 2 июля 1566 года) земский собор – представительное собрание высшего духовенства, боярства, служилых людей, «гостей и купцов и всех торговых людей» (то есть представителей торгово-промышленного класса). Собор отклонил перемирие на предложенных условиях и высказался за продолжение войны в надежде на дальнейшие воинские успехи. Война и продолжалась, но вяло; военные действия шли с переменным счастьем и чередовались с попытками мирных переговоров. В 1570 году было наконец заключено перемирие на основании *uti possidetis* (кто чем владел в данное время); срок перемирия был условлен трехлетний.

Однако война с Речью Посполитою возобновилась не через три года, а только через семь лет – в 1577 году. Промежуток времени с 1570 до 1577 года был полон очень важными для Москвы и для самого Грозного событиями. Во-первых, встала серьезная опасность со стороны Турции и Крыма; во-вторых, произошел разрыв со Швецией, и в-третьих, возник вопрос об унии Москвы с Литвой (и даже Польшей) путем избрания Грозного на литовский и польский престол по смерти короля Сигизмунда-Августа, но разрешился полной неудачей московской кандидатуры. Сложность политических событий в эти годы была чрезвычайной, и увеличива-

<sup>41</sup> Голдовник (вероятно, с польского) – значит данник, вассал.

лась она еще тем тяжелым внутренним процессом, который обнаружился внутри Московского государства и расшатывал его внешнюю мощь.

Турки и татары начали действовать против Москвы еще в 1569 году. Весною этого года султан Селим послал на Астрахань значительные силы: турецкие, ногайские и крымские. Они должны были из Азова Доном дойти до «переволоки» на Волгу и Волгою спуститься к Астрахани. Условия климата и местности не позволяли исполнить этот план. До низовий Волги добрался только авангард, и тот быстро отступил назад из боязни зимовки в степи ввиду русских сил. Зато в 1571 году крымскому хану удался набег на Москву. Грозный стерег свою южную границу все лето 1570 года и не дождался хана; а год спустя хану московские изменники указали такой обходной путь, который позволил ему беспрепятственно дойти до самой Москвы и сжечь ее. Уцелел один Кремль; все прочие части города погибли в огне. Сгорело много народу; истреблены пожаром товары и пожитки. Бедствие приняло огромные размеры. Сам Грозный спасся бегством от татарского набега в Ростов и не присутствовал при попытках бояр отбить врага от Москвы. На следующий 1572 год крымцы хотели повторить нападение на Москву, но были вблизи от Москвы разбиты князем М.И. Воротынским и обращены в бегство. Этим пока и была исчерпана их энергия.

В те же годы совершилось признание герцога Магнуса «королем» Ливонским и произошел разрыв Грозного со Швецией. Поддержанный Москвою Магнус начал осаду Ревеля, а московское правительство стало в явно враждебные отношения к шведам в расчете на успех своего «голдовника». Когда же Магнус отступил от Ревеля ни с чем, Грозный сам начал поход в Эстляндию (1572–1573) – Русские взяли несколько укрепленных замков, но в общем не имели большого успеха. Дело тянулось вяло целые годы, и шведы были не прочь от мира: «...а мы не можем себе разумети, – писал шведский король Иоанн Грозному, – за что вы с нами воюетесь». Если дело идет только о Ревеле, то шведы готовы предоставить его императору как верховному государю, «и вы тогда у цесаря о Колывани (то есть о Ревеле) промышляйте». Но Грозный хотел промышлять не только о Ревеле. В 1575 году он захватил Пернов и Гапсаль, имея в виду всю Эстляндию, а позднее, в 1577 году, думал уже и о Лифляндии, где впервые его войска столкнулись с войсками короля Стефана Батория, поддержавшими шведов. Этим начался последний период Ливонской войны, приведший Грозного к полному поражению.

Во время перемирия Москвы с Речью Посполитой, заключенного в 1570 году, умер последний Ягеллон, король Сигизмунд-Август (в июле 1572), и Речь Посполитая обратилась в избирательную монархию. В числе кандидатов на ее престол оказался и Грозный, за которого высказывались литовские паны и часть польской шляхты. Однако же кандидатура Грозного скоро пала оттого, что царь ставил условия очень удобные для него, но неприемлемые для поляков, в особенности же для католиков. Это объяснялось тем, что Грозный вряд ли серьезно думал стать избранным и ограниченным монархом в иноверной стране. Как известно, на элекционном поле под Варшавой в 1573 году уже не произносилось имени царя московского, а избран был Генрих Валуа принц Анжуйский. Когда же он, после краткого визита в Польшу, бежал из нее на родину и началось снова бескорольевье, кандидатура Грозного не получила большей силы. Королем был избран Трансильванский (Седмиградский) владетельный князь Стефан Баторий. Венгерец родом, питомец Падуанского университета, побывавший и в Германии, Баторий совмещал природный ум и талантливость с большим образованием и широким житейским опытом. Эти качества помогли ему приобрести авторитет в Речи Посполитой и дали возможность сосредоточить в своем распоряжении достаточные силы и средства для борьбы с Москвою. Весною 1576 года стал он королем и первое время всецело занялся укреплением своего положения внутри государства, но затем с необычной энергией устремился на борьбу с Грозным. В 1577 году его войска действуют в Лифляндии; 1578 год проходит в подготовке большого похода и в переговорах с Москвою о перемирии. Москва была согласна на трехлетнее перемирие, но Баторий уже приготовился к войне и не пожелал воспользоваться согласием

Москвы. В 1579 году летом, когда Грозный с большим войском приступил к действиям против шведов, Баторий нападает на Полоцк и берет его. В 1580 году он направляется на Великие Луки и берет этот важный в стратегическом отношении город. Обладание Полоцком и Великими Луками ставит Батория на путях между Москвой и Лифляндией «в предсердии Московского государства», откуда открыт выход на Волжские верховья и в Московский центр. Однако король не стремится к Москве: следующий удар он в 1581 году, летом, направляет на Псков, предварительно взяв по дороге город Остров. Но здесь и кончаются успехи Батория. Он вернул себе литовскую территорию, бывшую в обладании Грозного; он отрезал Грозного от Лифляндии и подчинил ее Польше. Он, словом, лишил Москву всех плодов ее побед; но на московской земле ему было мало удачи. Псков отразил все приступы Батория, и король подо Псковом вынужден был остаться на зиму. Это склонило Батория на переговоры о мире. И Грозный желал мира «по конечной неволе, смотря по нынешнему времени, что Литовский король со многими землями и Шведский король стоят заодно». В Москве поняли, что дело проиграно, потому что оба врага перешли в наступление (шведы в эти годы взяли Гапсаль, Нарву и весь берег моря до реки Невы и города Корелы); внутренние же силы для борьбы Москва быстро теряла.

Переговоры о мире с Баторием начались в конце 1581 года на Запольском яму (близ города Порхова) и привели к десятилетнему перемирию, заключенному на условии передачи Баторию всей Лифляндии и всех городов, завоеванных Москвой у Литвы. Посредником при заключении мирного договора был папский «посланник», «римской веры поп», иезуит Антоний Поссевин, имя которого помянуто было даже в подлинных мирных грамотах как имя официального представителя папы. Немногим позднее, в июле 1582 года, Баторию удалось вынудить у побежденной Москвы обязательство не посылать войск в Эстляндию и «не добывать» тех городов, московских и ливонских, которые были захвачены шведами, во все перемирные десять лет. Это означало фактическое прекращение войны со шведами, иначе – капитуляцию; она и была оформлена договором со шведами в августе 1583 года (на реке Плюсе). Этот договор установил перемирие на три года на основании *uti possidetis*.

### 3. Опричнина; ее аграрно-классовый характер

Итак, из долгой борьбы за балтийский берег Москва вышла побежденною и ослабленною. В нашем изложении хода военных действий не раз упоминалось о том, что боевые неудачи Грозного сопрягались с тяжелым внутренним процессом московской жизни, который подтачивал – и притом очень быстро – экономические силы и боеспособность страны. В конце правления Грозного Московское государство было уже не таково, как в начале Ливонской войны. Первые походы Грозного на Ливонию, поход его на Полоцк поражали современников количеством ратных сил. Идя к Полоцку, московские войска «позатерлись» по дорогам от своего многолюдства, и царю потребовались особые усилия для того, чтобы восстановить походный порядок в воинских массах. Когда же Баторий наносил свои удары Полоцку, Великим Лукам, Озерищу, Пскову, у Грозного не было, чем выручить крепости и что вывести в поле против вражеской рати. По выражению Курбского, Грозный со всем своим воинством забился за леса «яко един хороняка и бегун», трепетал и убегал, хотя никто за ним не гнался. Действительно, против Батория Москва не высылала полевых армий, а встречала его одними гарнизонами, сам же Грозный лишь издали со своим «двором» наблюдал за действиями врага. В последние годы войны были заметны признаки явного истощения средств для борьбы. Уже в начале 1580 года Грозный прибегает к исключительным мерам в отношении вотчинных прав и льгот духовенства и ограничивает их, потому что от роста церковного землевладения «воинскому чину оскудение приходит велие». Ниже увидим и другие признаки экономического кризиса, постигшего Московское государство. В сущности, Баторий бил уже лежачего врага, не им повергнутого, но до борьбы с ним утратившего свои силы.

Внутреннее растройство московской жизни, кроме случайных физических бедствий того времени, имело двойные причины. Одни заключались в так называемой опричнине Грозного и ее следствиях, другие – в том стихийном явлении, что трудовая масса московского населения пришла в движение и, покидая старую оседлость, стала рассеиваться по направлению от центра к окраинам государства. Обе категории причин были во взаимной связи, действовали одновременно и в короткое время привели Московское государство ко внутренней катастрофе.

К изложению этого сложного процесса мы теперь и обратимся. Смысл опричнины совершенно разъяснен научными исследованиями последних десятилетий. Современники Грозного ее не понимали, потому что правительство не давало народу объяснений по поводу тех мер, какие принимало; самые же меры представлялись очень странными. Сиренный дьяк Иван Тимофеев, «книгочтец и летописных книг писец», представляет в своем «Временнике» дело так, что царь «возненавидел грады земли своея» и во гневе разделил их и «яко двоеверны сотворил». Другой современник выразился крепче, сказав, что, по разделении государства, царь одну его часть взял себе, другую дал великому князю Симеону Бекбулатовичу и заповедал своей части «оную часть людей насилovati и смерти предавати». Итак, видно было только разделение государства и насилие над одной частью его, «земщиною», другой его части – «опричнины». Зачем это делалось, не понимали и думали, что царь просто «играл Божиими людьми». Действительно, было странно делать над своими мирными подданными то, что сделал Грозный. Недовольный окружавшею его знатью, он применил к ней ту меру, какую Москва применяла к своим врагам, именно – «вывод». И отец и дед Грозного, следуя старому обычаю, при покорении Новгорода, Пскова, Рязани, Вятки и иных мест выводили оттуда опасные для Москвы руководящие слои населения во внутренние московские области, а в завоеванный край посылали поселенцев из коренных московских мест. Это был испытанный прием ассимиляции, которым московский государственный организм усваивал себе чуждые общественные элементы. В особенности крут и ясен был этот прием в Великом Новгороде и на Вятке; при самом Иване Грозном в несколько лет Казань была превращена в русский город, из которого татары все были выведены в «татарскую слободу». Лишаемый местной руководящей среды, завоеванный край немедля получал такую же среду из Москвы и начинал вместе с нею тяготеть к общему центру – Москве. То, что так хорошо удавалось с врагом внешним Грозный задумал испытать с врагом внутренним, то есть с теми людьми, которые ему представлялись враждебными и опасными. Он решил вывести с удельных наследственных земель их владельцев княжат и поселить их в отдаленных от прежней оседлости местах, там, где не было удельных воспоминаний и удобных для оппозиции условий; на место же выселенной знати он сажал служебную мелкоту, детей боярских – на мелкопоместных участках, образованных на пространстве старых больших вотчин.

Исполнение этого плана Грозный обставил такими подробностями, которые возбуждали недоумение современников, ибо не вытекали из сути дела. Он начал с того, что в декабре 1564 года безвестно покинул Москву и только в январе 1565 года дал о себе весть из Александровской слободы. Он грозил оставить совсем свое царство из-за боярской измены и остался во власти, по усердному молению москвичей, только под условием, что ему не будут перечить на изменников «опала своя класти, а иных казнити, и животы их и статки (имущество) имати, а учинити ему на своем государстве себе опричнину: двор ему себе и на весь свой обиход учинити особой». Таким образом, борьба с «изменою» была целью; опричнина же являлась средством. Новый «особный двор» Грозного состоял из бояр и детей боярских – новой «тысячи голов», которую отобрали так же, как в 1550 году отобрали тысячу лучших дворян для службы в столице. Первой тысяче дали тогда подмосковные поместья; второй Грозный дает поместья в уездах тех городов, «которые города поймал в опричнину»; это и были опричники, предназначенные сменить опальных княжат на их удельных землях. Для содержания нового двора царь с самого начала отобрал некоторое число дворцовых сел и волостей, приписал к новому

двору некоторые улицы и слободы в самой Москве, взял в опричнину более десятка городов с их уездами и перевел из государственных касс в свое ведение доходы с волостей и городов, выбрав для того крупные и доходные торговые центры. Первоначальное ведомство нового «особного двора», образованное в 1565 году, непрерывно росло до самого конца царствования Грозного. Царь последовательно включал в опричнину одну за другой внутренние области государства, производил в них пересмотр землевладения и учет землевладельцев, удалял на окраины или попросту истреблял людей ему неугодных и взамен их поселял людей надежных. Изгнанию подвергались не только знатные потомки удельных князей, но и простые служилые люди и вся вообще дворня и служня, окружавшая подозрительных для Грозного господ. Эта операция пересмотра и вывода землевладельцев получила характер массовой мобилизации служилого землевладения с явной тенденцией к тому, чтобы заменить крупное вотчинное (наследственное) землевладение мелким поместным (условным) землепользованием. С развитием дела опричнина получила огромные размеры. Она охватила добрую половину государства, все его центральные и северные области, и оставила в старом порядке управления, «в земском», только окраинные уезды. В «опришнинской» половине государства было свое правительство, своя администрация, своя казна – словом, весь правительственный механизм, работавший параллельно и равноправно с органами «земского» управления. Государство действительно оказалось поделенным на две части, и в 1575 году Грозный как бы оформил это разделение: он сделал «великим князем всея Руси» крещеного татарского «царя» (то есть хана) Симеона Бекбулатовича и подчинил ему «земское», или «земщину», а сам стал звать себя «князем московским» и просил у «великого князя» разрешения «людишек перебрать, бояр и дворян и детей боярских и дворовых людишек». На это время – правда, короткое (1575–1576) – царский титул как будто исчез совсем, и опричнина именовалась «двором» московского князя, а «земское» стало «великим княжением всея Руси».

Прямой смысл того, что делал Грозный, ясен; но совершенно не ясно, что подвигнуло его на это дело учреждения «особного двора», пересмотра земель, изгнания знати и, наконец, тех зверских казней, которыми сопровождалась деятельность опричнины. Мы видели, что в детстве Грозного при московском дворе не было борьбы боярских партий, не существовало оппозиционной среды бояр или княжат. Вражда нескольких княжеских семей, омрачившая детство Грозного, была простым хроническим несогласием членов регентства, которому Василий III вверил опеку над малолетним Иваном. Маленький великий князь не видел вокруг себя политической борьбы и не знал никакой сословной или кружковой оппозиции. Никакая среда не стремилась воспользоваться слабостью верховной власти и захватить в свои руки правление государством или получить влияние на дела. Из своего детства Грозный никак не мог вынести сознания того, что его самодержавие в опасности. Такое сознание могло родиться у него только во время его близости с Сильвестром и «радою». Мы видели, что состав «рады», как надо предполагать, был княжеский, тенденция, по-видимому, тоже была княжеская. Сила влияния «попа» и его «собацкого собрания» в первые годы их действия была очень велика. Советники подавляли личную волю Ивана и властно руководили им, увлекая его за собою идеей общего блага, стремлением к народной пользе и государственному благоустройству. Грозный послушно шел за своими руководителями, пока верил в них самих, как верил в их идеалы. Когда же в дни своей тяжелой болезни он неожиданно увидел их против себя и против царичиной родни, он перестал им доверять и уразумел, что они преследуют свои цели, ведут свою политику, не ценят его лично и не любят его семьи. Из любимых и верных слуг они для него превратились в своекорыстных и неискренних соправителей, лукаво отнявших у него полноту его власти, разделивших с ним его державный авторитет. Так как весь механизм управления был в их руках (для царя, по его словам, «вся не по своей воли бяху, но по их хотению»), то Грозный их боялся, как боялся и любезного им князя Владимира Андреевича. Ему казалось, что, отняв на деле «от прародителей данную ему власть», они могут попытаться отнять ее и

формально, воцарив Владимира вместо него, Ивана. Впервые и очень остро Грозный почувствовал около себя опасность оппозиции и, разумеется, понял, что это оппозиция классовая, княжеская, руководимая политическими воспоминаниями и инстинктами княжат, «восхотевших своим изменным обычаем» стать удельными «владыками» рядом с московским государем.

Именно в этой обстановке надлежит искать происхождение опричнины. Не отваживаясь сразу разогнать «раду», царь терпел ее около себя, но внутренне отдалился от нее; и члены «рады» понимали, что прежние отношения порвались. Наиболее чуткие тотчас же пожелали уйти в Литву от создавшейся обстановки царского недоверия и вражды с царицыной родней. Так поступили ростовские князья и, конечно, только углубили этим происшедший разрыв. В общем, однако, дело тянулось до начала Ливонской войны, когда наконец царь показал явно свою независимость от «рады». В первые же годы войны и, быть может, под влиянием достигнутых успехов Грозный окончательно освободил себя от общения с «попом» и А. Адашевм. Оба они были удалены из Москвы – первый в монастырь, а второй на театр войны. Попытки друзей заступиться за них и возвратить их были отклонены и раздражили Грозного. Последовали опалы на заступников, не остановившие, однако, новых попыток вернуть прежних любимцев. В воспоминаниях Грозного дело имело такой вид, что он, освободившись от Сильвестра и Адашева, думал сначала легко покончить с «радою»; но приятели удаленных упорно держались за свои позиции, мечтали о возвращении ко власти и вообще обнаружили «разум непреклонен» к тому, чтобы на царя «лютейшее составити умышление». Тогда Грозный вышел из душевного равновесия. Дело осложнилось тем, что в это время скончалась (7 августа 1560 года) жена Грозного царица Анастасия, долго болевшая (с ноября 1559 года). Царь связал ее кончину с тою «ненавистью зельною», какую, по его мнению, питали к царице Сильвестр и Адашев, и поставил свою горестную утрату как бы в вину всей «раде». Разрыв с «радою» получил характер острого и бурного столкновения. Первые попытки вернуть опальных Грозный отвел сравнительно милостиво: «Исперваубо казнию конечною ни единому коснухомся», – писал он. А дальше «повинные по своей вине таков (какова вина) суд прияли», то есть последовали казни; именно, были без суда казнены родственники А Адашева (сам же он умер в Дерпте в начале 1561 года). Первые казни открыли собою новый период в развитии московских осложнений. По-видимому, они вызвали общее возмущение боярских кругов, которое выразилось в наклонности к отъездам в Литву. На недовольство бояр царь отвечал новыми репрессиями: были отправлены в ссылку, в монастырь на север, князь Дмитрий Курлятев и князь Михаил Воротынский с семьями. С некоторых бояр были взяты обязательства не отъезжать из Москвы и по ним требовались поручители с ответственностью в случае нарушения данного обязательства. Отношения в Москве обострялись не только по причинам политического порядка, но и потому, что по смерти жены и по удалении «попа» Грозный вспомнил обычаи своей юности и распустился, впал в пьянство и разврат. Все в целом поведение Грозного возбуждало против него не одну «раду», но и всех тех, кто дорожил добрыми нравами и истовым «чином» дворцовой жизни.

О том, как обличали Грозного за его грехи старые вельможи, ходили по Москве любопытные рассказы: князь Михаил Репнин был будто бы по царскому приказу убит за то, что сурово осудил шутовской маскарад во время дворцовой оргии. К сожалению, сохранилось очень мало точных и конкретных известий об этих годах (1559–1564), составивших промежуток между эпохой «Избранной рады» и временем возникновения опричнины. Но несомненно, что с удалением «рады» и со вдовством Грозного между Грозным и высшим кругом московской знати легла пропасть. По одну ее сторону находился царь со своими новыми приближенными, взятыми из дворцовой среды весьма среднего разбора. Среди них было лишь одно лицо с княжеским титулом (князь Афанасий Вяземский) и лишь одна семья достаточно великородная (Басмановых-Плещеевых). По другую сторону стояла вся великородная знать, как близкая к «Избранной раде», так и далекая от нее. Вместе с другом Сильвестра князем Курлятевым

здесь против царя стояли и его опале подвергались далекие от «рады» и ей даже враждебные – младший дядя царя князь Василий Михайлович Глинский и старший из Вельских князь Иван Дмитриевич, принадлежавший к семье опекунов Грозного, когда-то устраненных «Избранною радой». Неискусно и грубо проведенный разрыв с «Избранною радой», таким образом, превратился в глухую вражду с широкими кругами знати. Со стороны последней не было заметно ничего похожего на политическую оппозицию; ясно было только моральное осуждение царя и страх пред ним, пред его способностью к быстрым опалам и даже «казням конечным», какие постигли семью Адашевых. Но со стороны Грозного недовольство бояр получило неожиданную оценку. Он всех недовольных объединил в одно целое с «Избранною радой», а так как «раде» он приписывал желание снять с него всю власть, то это же желание он заподозрил и у боярства вообще, а в особенности, разумеется, у княжат. Такого рода подозрениями исполнено все его обширное письмо к Курбскому: в нем он готов обвинить в умалении царской власти одинаково и своих опекунов, старых бояр его отца, и своих друзей, сотрудников Сильвестра и Адашева, и отдельных бояр, почему-либо случайно навлекших на себя его гнев.

Таково было настроение Грозного в те дни, когда с театра военных действий, из Дерпта, 30 апреля 1564 года убежал в Литву участник «Избранной рады», недавний любимец Грозного князь Андрей Михайлович Курбский. Мало того что изменил царю его ближний советник, он еще из-за рубежа прислал Грозному укоризненное письмо с ядовитыми упреками и тяжкими обвинениями. На царя это произвело сильнейшее впечатление: с ним заговорили такую речью, какой он еще не слыхивал в Москве, и бросили ему в лицо такие мысли и чувства, какие он мог у многих предполагать. Курбский писал ему за всех гонимых:

«Не помышляй нас суетумудренными мыслями, аки уже погибших, избиенных от тебя неповинно и заточенных и прогнанных без правды! (...) Избиенные тобою, у престола Господня стояще, отомщение на тя просят; заточенные же и прогнанные от тебя без правды – от земли ко Богу вопием день и ночь!» Побег и письмо Курбского были последним ударом по нервам Грозного. Раздражение царя толкнуло его на то мероприятие, какое мы зовем опричниной. В уме Грозного всему злу заводчиками были «изменные владыки», княжата, устроители «рады», а виновными в безначалии и оппозиции все вообще бояре, сочувствующие княжатам. Гнев государя должен был упасть на всякого повинного в противословии и противомыслии царю. Но княжата должны были понести особо тяжкое наказание. Грозный решил уничтожить самое основание их притязаний на общественное и политическое первенство в стране. Этим основанием было наследственное льготное землевладение в тех уделах, где предки княжат когда-то были государями. Старые «княжеческие» вотчины с пережитками удельного быта, с политическими воспоминаниями питали в княжатах мысль о возможности соперничества с московским государем «всея Руси», который был одного с ними рода и даже не старшего в нем «колена». Грозный решил свести княжат с их вотчин на новые места, разорвать их связи с местными обществами и, таким образом, подорвать их материальное благосостояние и, главное, разрушить тот устой, на котором опирались их политические претензии и было построено социальное первенство.

#### 4. Последствия опричнины

Грозный устроил себе в опричнине «двор общения», надо полагать, для того, чтобы освободить себя от тех житейских связей родства и свойства, которые сильны были в старом дворце. Поселясь в новых дворцах (то на «Орбате» в Москве, то в Александровской слободе), царь окружил себя новыми слугами и угодными ему боярами и с помощью новой «тысячи голов» опричников стал приводить в дело свою затею. Уезд за уездом брал он в опричнину и «перебирал людишек». Прежде всего уничтожались или выводились на окраины государства крупные землевладельцы, княжата и бояре; дворня их следовала за господином или же распускалась и

должна была искать новых господ; крупная вотчина делилась на мелкие доли, которые шли в поместье детям боярским опричникам. За крупными землевладельцами приходил черед и мелким: их тоже выводили на новые места, лишая старых вотчин и поместий, а вместо них сажали новых людей, более надежных с точки зрения опричнины. При этом держались правила – старых владельцев посылать на окраины, где они могли бы быть полезны в целях обороны государства. Самый яркий пример такого поселения на границах представляет собою массовый вывод в 1571 году служилых людей из двух новгородских пятин, взятых в опричнину, на литовскую границу, в Себеж, Озерище и Усвят, где они должны были заново поднять хозяйственную культуру и стеречь рубежи против врага. Перебор «людишек» в опричнине сопровождался гонениями на всех тех, кто навлек на себя государеву опалу, и простыми насилиями опричников над теми, кого безнаказанно можно было обидеть. Вся операция пересмотра и перемены землевладельцев в глазах населения носила характер бедствия и политического террора. Государь не просто производил эту перемену, а свирепствовал над теми, кого подозревал в «измене» (или, говоря недавним языком, в неблагонадежности). С необыкновенной жестокостью он без всякого следствия и суда казнил и мучил неугодных ему людей, ссылая их семьи, разорял их хозяйства. Его опричники не стеснялись «за посмеих» убивать незащищенных людей, грабить и насиловать их. Утратив прежнее настроение, внушенное ему «радою», Грозный морально опустился, погряз в оргиях и разврате, окружил себя предосудительными людьми и разрешал им все, чего искала их распущенность. Но в то же время царь сохранил в себе плоды делового воспитания, какое было дано ему в период его первых реформ, и вполне владел правительственной техникой. Он вел свое дело в опричнине уверенно и твердо, напролом шел к цели и достиг ее. Землевладение княжат было сокрушено; их среда была сорвана со старых гнезд и развеяна по всему государству; виднейшие из них были истреблены; их правительственное первенство было уничтожено. В Боярской думе и во дворце первые места стали принадлежать знати новой формации – государевым любимцам и родне царских жен, а князья Рюриковичи и Гедиминовичи держались в этой среде лишь постольку, поскольку умели привлечь милость государеву готовностью служить в новом «опришнинском» порядке.

В последние годы своей жизни Грозный мог торжествовать победу над внутренним врагом. Над царем не было тех «повелителей и приставников», которые тяготили его в юности. Он, по его собственному выражению, следовал апостольскому велению: «...одних миловал, рассуждающе, других же страхом спасал», и на деле стал в конце концов «самодержцем», ибо «сам строил» свое царство. Но можно думать, что он уразумел и ту ошибку, в какую впал при учреждении опричнины. Нельзя было сомневаться в том, что он выбрал для достижения своей цели несоответствующее ей средство. Цель опричнины – ослабление знати – могла бы быть достигнута менее сложным способом. Тот же способ, какой был Грозным применен, хотя и оказался действительным, однако повлек за собою не одно уничтожение знати, но и ряд иных последствий, каких Грозный вряд ли желал и ожидал.

Во-первых, пересмотр княженецкого землевладения превратился в опричнине в общую земельную мобилизацию, принудительную, тревожную и потому беспорядочную. Массовая конфискация вотчин, массовое передвижение служилых землевладельцев, секуляризация церковных земель и обращение в частное владение земель дворцовых и черных для нужд опричнины – все это явилось бурным переворотом в области земельных отношений, вызывало недовольствие и страх в населении. Вместе с гибелью крупных хозяйств гонимой знати, к чему стремился Грозный, гибли хозяйства и тех простых малоземельных служилых людей, которых передвигали с земель на земли по соображениям политического порядка, очищая их места для опричников. Сколько насилий и обид, разорений и потерь связано было с этим передвижением! На старой земле разрушалось устроенное хозяйство служилого человека, а на новой оседлости, чаще всего на окраине, трудно было ему обжиться и устроиться на пустошах без крестьян, без инвентаря и без денег, которых он обычно не имел. Меньшая братия, люди зави-

симые от служилых господ, страдали не менее их. По давнему московскому обычаю, при опале конфисковывали не только имущество опального человека, но и его документы – «грамоты и «крепости». Действие этих крепостей прекращалось, и крепостные люди, «опальных бояр слуги», получали волю, иногда с запрещением поступать в какой-либо иной двор. Осужденные на свободное, но голодное существование, они являлись опасным для порядка бродячим элементом. Равным образом и рабочее крестьянское население мобилизуемых земель терпело от перемен, даже если не делалось жертвою грабежа и насилий от опричников. В крупных богатых вотчинах оно было устроено в общины со своими выборными, ведавшими его податные и иные дела. При раздроблении этих вотчин на мелкие поместные участки община гибла и крестьяне отдельными дворами расходились по рукам помещиков, попадая в худшие для них условия крепостной зависимости. За богатым и льготным владельцем и крестьяне пользовались преимуществами его иммунитета; за бедным и рядовым помещиком они «тянули тягло» безо всяких льгот. Поэтому переход к новому владельцу был для крестьян бедствием, побуждавшим их сниматься с места и искать «новых земель». Таким образом, все слои населения, попадавшие под действие опричнины, терпели в хозяйственном отношении и приводились – вольно или невольно – из оседлого состояния в подвижное, чтобы не сказать – бродячее. Достигнутое государством состояние устойчивости населения было утрачено, и в данном случае по вине самого правительства.

Во-вторых, пересмотр владельческих прав княжат и боярства и перевод опальных людей на новые земли могли бы происходить с тем же спокойствием, с каким, например, позднее при царе Феодоре Ивановиче в 1593–1594 годах, происходил пересмотр владельческих прав монастырей, а иногда и конфискация монастырских земель. Но Грозный считал нужным соединить эту операцию с политическим террором, казнями и опалами отдельных лиц и целых семей, с погромами княжеских хозяйств и целых уездов и городов. С развитием опричнины государство вступило в условия внутренней войны, для которой, однако, не было причины. Царь преследовал своих врагов, которые с ним не сражались. Нет никакого желания приводить подробности гонений и казней, описанных современниками не один раз с потрясающими подробностями. Историк Н.М. Карамзин насчитал «шесть эпох казней» за время с 1560 по 1577 год; но правильнее поступили последующие исследователи, считая все это время одною сплошною эпохою душегубства. Не довольствуясь уничтожением одной знати Грозный простирал свой гнев на людей всех состояний и губил их массами. Существует краткая летописная запись, например, о том, что в 1574 году «казнил царь на Москве, у Пречистой на площади, в Кремле, многих бояр, архимандрита Чудовского (Евфимия), протопопа и всяких людей много». В 1570 году царь ходил походом на Новгород. Из Александровской слободы снялся он в декабре предшествовавшего года и по дороге громил города (Клин, Тверь). В Новгороде провел он несколько недель, истязая и убивая людей сотнями, даже тысячами. Если не принимать баснословной цифры погибших 60 000, сообщаемой летописью, то неизбежно следует принять показание царского «синодика» (поминанья), что в Новгороде было «отделано» (то есть убито) 1505 человек. Современники с ужасом вспоминали царское посещение и говорили, что от него «бысть Великому Новуграду запустение» и что «от сего мнози людие поидоша в нищем образе скитаяся по чужим странам<sup>42</sup>. Пострадали при этом и окрестности Новгорода, пострадал слегка и Псков, в котором не было казней, а был только грабеж. Не ограничиваясь преследованием бояр и простонародья, Грозный легко и охотно истреблял духовенство; даже сослал и велел убить митрополита Московского, главу народной церкви, Филиппа, которого сам же вынудил согласиться стать митрополитом. Погиб и тот князь Владимир Андреевич Старицкий, кого «Избранная рада» прочила в преемники Грозного. Результатом этого безумного и вовсе не

<sup>42</sup> Мнение, что Грозный из 6000 жилых дворов в Новгороде запустошил 5000, теперь оставлено. Новгород быстро пустел под влиянием Ливонской войны; но несомненно, что погром 1570 года повлек за собою массужертв и ускорил обнищание края.

нужного террора было полное расстройство внутренних отношений в стране. Загнанная, но не совсем истребленная знать вместе с чувством страха питала острую ненависть к «издавна кровопийственному роду» московских государей и заранее предвкусывала его скорый конец. В исходе 1579 года Курбский, торжествуя победы Батория, в своем письме предсказывал Грозному словами псалма, что «не пребудут долго пред Богом, которые созидают престол беззакония» и что «кровью христианскими оплывающие исчезнут вскоре со всем домом». Расстроенное оргиями здоровье Грозного и отсутствие у него внучат могло дать Курбскому мысль, что «кровопийственный род» вымирает. Эта же надежда на скорый конец тирана могла быть утешением и других гонимых, в лице которых московская династия имела жестоких врагов. И эта надежда сбылась. Не прошло и четверти века по смерти Грозного, как представители гонимых княжат овладели московским престолом в лице князей Шуйских и по-своему расправились с Годуновыми и Романовыми, которые тогда представляли собою родню и свойство вымершей семьи Грозного. Не меньшее ожесточение, чем в боярстве, было и в других слоях населения. Опричнина и террор были всем ненавистны, кроме разве тех, кто с ними связал свой житейский успех. Они поставили все население против жестокой власти и в то же время внесли разнь и в среду самого общества. По меткому замечанию англичанина Дж. Флетчера, бывшего в Москве вскоре по смерти Грозного, низкая политика и варварские поступки Грозного так потрясли все государство и до того возбудили всеобщий ропот и непримиримую ненависть, что, по-видимому, это должно было окончиться не иначе, как всеобщим восстанием. Сделанное до смуты, это замечание вполне было оправдано последующими московскими событиями.

## 5. Перемещение трудовой массы и хозяйственный кризис

Разброд московского населения был замечен правительством приблизительно около 1570 года, но начался, конечно, раньше. Можно думать, что его первые проявления были вызваны, во-первых, усиленной работой власти над упорядочением поместной системы и, во-вторых, завоеванием Казани. И то, и другое относится к 50-м годам XVI века. Указанные нами в своем месте меры относительно норм поместной службы и помещение целой тысячи служилых людей на поместьях под Москвою, общее описание служилых и тяглых земель в целях лучшего учета служб и платежей – все это вело к усилению государственных тягот населения и могло побуждать к выселению на новые, более льготные места. А таковы были именно места в завоеванном Поволжье. Богатая почва, обилие воды и леса, непочатый простор для селитьбы, пахоты и промысла манили туда поселенцев. Правительство, нуждаясь в гарнизонах для новых им основанных городов, само звало на Низ «верховых сходцев» с Оки и верхней Волги. Оно раздавало там земли служилым людям и духовенству для усиления русской стихии в крае, и землевладельцы вели за собою на новые хозяйства рабочую силу из старого Великорусского центра. Кроме того, стала доступна дорога с Оки и Волги мимо Нижнего Новгорода через черемисские и вотяцкие места на Вятку и далее к Уралу, давно известному в Великорусь своими богатствами. Народная масса поэтому двинулась на восток и северо-восток, отчасти поощряемая самим правительством в ее движении. Но не одно Поволжье сманивало народ из коренных московских областей.

Манило к себе и то «дикое поле», которое лежало на юг от рязанских, тульских и калужских мест и пока не было никем заселено. Им пользовались татарские и русские бродяги, находившие там убежище от преследования врагов или закона и искавшие добычи от охоты или грабежа русских и татарских пограничных поселений. К середине XVI века на «диком поле» одолели русские люди. Под именем «казаков» они бродили без помехи от татар по всему пространству до Северного Донца и Нижнего Дона и на берегах «польских» рек ставили свои охотничьи «станы» и «юрты», в которых промышляли рыболовством и охотой. Но не этот промысел был в «поле» наилучшим. Привлекательнее было военное дело. Можно было, сойдясь в

боевой отряд, «станицу», и выбрав «атамана», идти на юг в Черноморье добывать «зипунов» в татарских «и турецких поселениях. Можно было на полевых дорогах, «шляхах», из Московского государства на юг грабить русских и иноземных купцов, даже царских и ханских послов. Наконец, можно было по царскому призыву наниматься на государеву службу и входить особыми отрядами в московскую рать. Вот на это «дикое поле» и потянулся народ из терроризированного Грозным государства тогда, когда от опричнины и тягот Ливонской войны на Руси стало жить невмочь. По-видимому, это выселение из государства на «дикое поле» первоначально не беспокоило правительство; по крайней мере, современники думали, что Грозный даже поощрял выход на юг с той целью, чтобы «наполнить границы своей земли воинственным чином и им укрепить украинские города против супостатов». Один из писателей того времени сказал даже так, что если «гад кто злодействующий осужден будет к смерти и еще убежит в те грады польские и северские», то там будет избавлен от «смерти своея». Но с течением времени плоды такого попустительства стали беспокоить московскую власть. Она поняла, что отвлечение людей из центра в Поволжье и на «поле» роковым образом отозвалось на положении самого центра.

К семидесятым годам XVI века положение там в хозяйственном отношении стало явно критическим. Убыль населения создала в центре хозяйственную пустоту вследствие недостатка рабочих рук. Писцовые книги того времени отмечали очень много «пустошей, что были деревни»; вотчин пустых и поросших лесом; сел, брошенных населением, с церквями «без пенья»; пашен, оставленных «за пустом» без обработки.

Местами была жива еще память об ушедших хозяевах, и пустоши еще хранили на себе их имена, а местами и хозяева уже забыты и «имян их сыскати некем». Там, где возможен цифровой подсчет о положении дел под Москвой, он дает разительный итог. Ко времени смерти Грозного в 13 станах Московского уезда писцовые книги показывают до 50 000 наших десятин пахотных земель. Из них пустует (круглым счетом) до 16 000 десятин в поместьях и вотчинах и, сверх того, до 4000 за отсутствием владельцев сдано из оброка; стало быть, до 40 % пахотной земли вышло из нормального хозяйственного оборота. Остальные же 60 % (то есть 30 000 десятин) распределены так: за помещиками и вотчинниками 11 500 десятин и за монастырями 18 500 десятин. Значит, служилые люди в Московском уезде к концу царствования Грозного оставили впусе почти две трети общего количества пашни, каким могли бы владеть: сохранив за собою 11 500 десятин, они забросили 20 000 десятин. Еще более безотрадны данные получаются за то же время по новгородским пятинам, которые лежали вблизи театра Ливонской войны: в них, по приблизительному выводу, из общего количества пахотной земли в обработке было только 7,5 % и пустовало 92,5 %. У нас нет никаких показаний относительно того, какой процент населения ушел из центральных уездов на окраины и куда в каком количестве он перешел. Если только сделанное «на глаз» исчисление, что в самые последние годы XVI века на «поле» вышло не менее 20 000 человек, которые пополнили собою массу более старых выходцев из государства. Конечно, эта цифра и приблизительно не определяет размеров эмиграции. О них можно судить по той горячке, какая охватила хозяев-землевладельцев в исходе царствования Грозного в их борьбе за рабочие руки. Всеми законными и незаконными, благовидными и неблаговидными способами старались они задержать в своих хозяйствах уплывавшую рабочую силу, не выпустить из-за себя крестьян и холопей, напротив, достать их себе со стороны. Мирными сделками и судом, насилием и хитростью держали они у себя народ и крепостили себе людей с воли и из чужих хозяйств. Крестьянская «возка», выкуп и перевоз задолжавших крестьян составляли предмет постоянных столкновений между землевладельцами: богатые, сильные и ловкие «вывозили» к себе всеми способами крестьян из-за бедных, мелких и неумелых хозяев. Равным образом переманивали они и непашенных работников, шедших «во двор» в холопство к богатому и тароватому господину «служити волею», а в сущности, не «волею», а обманом и по горькой нужде. По слову современника, кабилили людей, «написание служивое

(то есть обязательство) силою и муками емлюще, инех же винца токмо испити взывающе – и по трех или по четырех чарочках достоверен неволею раб бываше тем».

Эта борьба за рабочих, конечно, давала победу влиятельным и богатым владельцам (чаще всего монастырям, располагавшим денежными капиталами и связями в Москве); но она была во вред крестьянам и мелким служилым людям, помещикам: из них первые попадали в экономическую кабалу, а вторые, теряя крестьян, разорялись и не могли нести службу со своей земли. Правительство теряло и в том и в другом случае: разоренный крестьянин или убегал, или обращался в холопа и, стало быть, исчезал как плательщик государственных податей; разоренный помещик не только не служил, но и «пустошил» казенное поместье, уничтожал его хозяйственную ценность. Поэтому правительство неизбежно должно было вмешаться в дело. В 1580 году Грозный взял у «освященного собора» и его главы митрополита Антония торжественный приговор о том, что монастыри и прочие церковные владельцы впредь не будут приобретать никаких земель и не будут брать их в заклад, потому что «воинственному чину от сего оскудение приходит велие». Вероятно, около того же времени состоялось государево «уложение», чтобы крестьян насильством не возили или чтобы их и вовсе не вывозили в известные сроки – «в заповедные лета», которые точно определялись наперед правительством. К сожалению, не сохранилось точного текста этого «уложения» Грозного; но оно, во всяком случае, существовало и по сути своей представляло собою первое, условное и временное, ограничение крестьянского выхода, до тех пор признаваемой московским законодательством.

## 6. Борьба с последствиями кризиса. Южная Украина

Итак, политический террор и опустение государственного центра привели Московское царство к внутреннему кризису чрезвычайной силы. Длительная война, татарские набеги 1571–1572 годов и случайные недороды тех же лет еще более обострили кризис. Грозный стоял перед тяжелой и сложной задачей. Страна отказывалась давать правительству людей и средства для продолжения войны; благодаря быстрому отливу населения она вообще потеряла силы, необходимые для поддержки правительства. Надобно было заново налаживать расстроенный порядок и искать новых ресурсов, способных восстановить государственную мощь. Естественна была мысль обратиться за этими ресурсами туда, куда ушла рабочая сила, и попробовать заново привлечь ее к отбыванию государственных служб и повинностей, от которых она своим уходом себя избавила. Что касается Поволжья, то в нем процесс заселения совершался под наблюдением и даже руководством московской власти. Поэтому там учет трудовых сил и средств шел в общем своевременно и правильно. Уже в середине 60-х годов XVI века, после распределения между русскими владельцами конфискованных татарских земель, в Казанском «царстве» началась их общая перепись. В писцовые книги заносились земли дворцовые, поместья «верстанных» людей, земли пустые и те, «что исстари были татарские и чувашские и мордовские, которые в поместья роздати довелось». Все описанные земли так или иначе вошли в правительственное ведение и были приняты в расчет при распределении служб и платежей. Иначе обстояло дело на юге, на «диком поле». Еще в начале XVI столетия граница московских оседлых поселений была отодвинута с Оки («с берега», как тогда выражались) на укрепленную «черту», которая обозначалась каменными крепостями Калугой, Тулой и Зарайском. Правительство укрепляло и стерегло эту черту, обставленную против татарских набегов гарнизонами и всякого рода природными и искусственными «крепостями». Самым мелочным образом оно заботилось о том, чтобы быть «усторожливее», и предписывало крайнюю осмотрительность. А между тем, несмотря на опасности, на всем пространстве укрепленной границы жило и подвигалось вперед, все южнее и южнее, земледельческое и промышленное население. Оно безо всякого разрешения, даже без ведома власти, оседало на «новых земляцах», на всякого рода угодьях. Его стремление из центра государства было так энергично, что выбрасывало наибо-

лее предприимчивые элементы даже вовсе за границу крепостей, где защитой поселенца были уже не городские стены и валы, а только природные «крепости» – лесная чаща или течение лесной же речки. Такого рода население уходило со всякого учета и вовсе терялось для государства. Его нельзя было описать в писцовой книге и обязать тем или иным видом службы или тягла. Между тем государственные нужды делались все острее и острее, и к 1571 году в Москве окончательно созрела мысль заняться югом. Ближайший повод к тому дали вести о татарских набегах 1570 года.

В январе 1571 года государь решил на южной границе «поустроить станицы и сторожи», то есть привести в порядок и улучшить ту сеть сторожевых разъездов и неподвижных наблюдательных постов, которая давно была раскинута на южной Украине и теперь признавалась мало состоятельной. Дело было поручено боярину князю М.И. Воротынскому. Он распорядился вызвать из южных городов в Москву опытных в сторожевой службе людей, «которые преже сего езживали (сторожить границу) лет за десять или за пятнадцать». Эти люди, «изо всеукраинных городов дети боярские, станичники и сторожи и вожи, в январе, а иные в феврале к Москве все съехались». С ними Воротынский выработал новый план сторожевой охраны границ, причем сторожевая линия была вынесена от Тулы на юг к реке Быстрой Сосне, к Орлу и Брянску, и, таким образом, значительное пространство «поля» вошло в состав государственной территории. Это был акт правительственной колонизации «поля», технически разработанный очень старательно и подробно. Так как при этой специальной работе возникали вопросы административные, выходявшие за пределы ведения специальной комиссии Воротынского, то они передавались в Боярскую думу, обсуждались там и разрешались особыми «приговорами» бояр. Дело затянулось на несколько лет; Воротынского заменил боярин Н.Р. Юрьев; расписание «станец» и «сторож» не раз изменялось сообразно с тем, как подвигались все южнее и южнее военные и хозяйственные заимки на «диком поле». Правительство все внимательнее и внимательнее относилось к задаче колонизации «поля», и к концу царствования Грозного и в самом начале царствования его преемника Федора Ивановича вопрос о включении «поля» в сферу государственного ведения встал в самом широком объеме.

Руководящею мыслью всех мероприятий в этом вопросе была мысль о необходимости построения на «поле» крепостей с тем расчетом, чтобы ими занять и закрыть все броды через реки на татарских дорогах с юга к Оке – «по сакмам татарским на бродах поставити города». Этим пресекалась возможность скрытого движения по «полю» больших татарских масс. Против же набегов мелких татарских отрядов устраивались между городами всякого рода «крепости»: в лесах «засеки», на полях валы и рвы. Все это составляло сплошную линию укреплений – «черту», за которой наблюдали неподвижные караулы, «сторожи», и подвижные разъезды, «станецы». Сеть городов, задуманная при Грозном и осуществленная при нем и его преемнике, охватила громадное пространство «поля» между Доном, верхнею Окою и левыми притоками Днепра и Десны<sup>43</sup>. Это пространство стало своеобразным завоеванием Москвы, где объектом завоевания были не вражеские города и чуждое население, а пустые места и собственный народ. На деле врага только старались не пускать в захваченный район, для чего и строили города, а к этим городам старались на месте прикрепить свое русское население, вышедшее из центральных областей и перешедшее за черту русской оседлости. Московский воевода, посылаемый на «поле» для основания нового города, являлся на место, где указано было ставить город, и начинал работы; в то же время он собирал сведения «по речкам» о том, были ли здесь свободные заимки земель. Узнав о существовании вольного населения, он приглашал его к себе, приказывал «со всех рек атаманом и казаком лучшим быти к себе в город»; государевым именем он укреплял за ними их «юрты» (заимки) и привлекал их к государевой службе по обороне границ и нового города. Из них и составлялось служилое население нового города и

<sup>43</sup> В этой сети укрепленных городов главными были Брянск, Орел, Кромы, Новосиль, Ливны, Елец, Воронеж, Оскол, Курск.

его уезда. Оно давало правительству возмещение той убыли ратных сил, какая была вызвана опустением и разорением центра. Но этим не ограничивались повинности вольного населения, захваченного снова в государственный оборот казенной колонизацией «поля». В каждом новом уезде на «поле» заводилась казенная запашка, так называемая «десятичная пашня», которую обязаны были пахать по наряду, сверх своей собственной, все мелкие ратные люди из городов (кроме детей боярских). Эта десятичная пашня была нужна для пополнения казенных житниц, из которых хлеб расходовался на различные нужды. Им довольствовались гарнизонных людей, не имевших своего хозяйства; казенный хлеб посылали в более южные города, где еще не была налажена своя запашка, а также на Дон казакам в виде «государева жалованья». Таким образом правительство думало восполнить ту убыль земледельческих продуктов, которая была естественным следствием хозяйственного кризиса в опустелом центре.

Заботы о заселении и укреплении Поволжья и особенно южной московской окраины и об устройстве в этих областях военного и трудового населения составляли главный предмет правительственной деятельности последних лет царствования Грозного. Поскольку ослабевала репрессивная энергия власти в опричнине, постольку росло ее внимание к организации окраин, оставшихся в «земщине». Тот исследователь, который ограничит свое наблюдение над московской жизнью этого периода только законодательной деятельностью центральных органов власти, должен будет признать, что они бездействовали и что сам Грозный влачил свои дни в мрачном настроении, болезненно переживая военные неудачи и по временам отдаваясь приступам зверского озлобления. И одно лишь знакомство со специальными материалами, касающимися устройства служб и труда во вновь заселенных окраинных областях государства позволяет понять, куда направлялись заботы правительства. Они не требовали общих законодательных определений и ограничивались практическим выполнением, по мелочам, раз установленного плана, а поэтому и не отражались ничем в указах и законах, хотя и свидетельствовали о бодрости и жизнеспособности правительства не менее чем широкие реформы молодых лет Грозного или же бурная затея опричнины.

## 7. Грозный в его последние годы

Ко второй половине царствования Грозного, к эпохе опричнины, Литовско-Шведской войны и строительства на Украине, относятся виднейшие литературные упражнения Грозного. Разумеется «зело пространное» послание его в ответ на первое письмо Курбского (1564 год), завещание 1572 года, послание в Кириллов монастырь (1573 год), письма и официальные грамоты, написанные, по-видимому, самим царем (грамоты шведскому королю Иоанну и Баторию, письмо В.Г. Грязному и так далее). Два признака характеризуют литературную манеру Грозного. Во-первых, он необыкновенно многоречив и склонен собственную щедрость в извятии словес усугублять цитатами из прочитанных им книг («паремьями целыми и посланьями», по выражению Курбского). Во-вторых, он очень любит все виды насмешки – от добродушной по виду иронии до злейшего сарказма, любит милостиво издеваться над своими корреспондентами, кстати и некстати вводя шутовской элемент в серьезную речь. Нам нет нужды останавливаться на разборе всех этих произведений Грозного, так как они много раз оценивались нашими историками и пользуются большою известностью. Но необходимо для нашей цели отметить, что, как бы ни ценить литературные свойства этих писаний, они свидетельствуют о том, что их автор сохранил умственные силы до последних своих лет, что писания Грозного отнюдь не могут почитаться бредом умалишенного или вздором глупого человека. В них всегда есть определенная тема, логически развиваемая; есть последовательность мысли и определенность чувства; вообще есть смысл и остроумие. Но вместе с тем эти произведения заключают в себе ценный материал для определения тех настроений, какие владели Грозным в наиболее решительные моменты его жизни. Не раз выше мы отмечали, что Грозный питал страх пред

своею «Избранною радюю». По-видимому, это было искреннее и глубокое чувство. Грозный верил, что он был во власти своих советников, что их «собацкое собрание» распоряжалось всеми делами, оставив ему только честь «председания и царствия», что его семье и ему самому грозила опасность от «лукавых рабов» и руководившего ими «попа». Когда, наконец, он превозмог этот страх и решился разогнать опасное «собрание», он впал в другое малодушие. Ему казалось, что разрыв с прежними любимцами повел их к «измене» и злоумышлениям против него. На деле, не они, а он нападал и гнал противных ему и подозрительных людей; ему же казалось, что нападали они, а он вынужден был «за себя стать» и защищаться. Это настроение страха и необходимости самообороны проникает все «широковещательное и многошумное писание» его к Курбскому. Учреждение опричнины было, с точки зрения царя, необходимым актом самообороны. И, свирепствуя над «изменниками», он сохранял то же настроение угнетенного и пребывающего в опасности человека. Его завещание 1572 года ясно отражает это состояние духа. Властно распоряжаясь своею «казною» и всем «своим царством Русским», Грозный в то же время представлял себя гонимым человеком: «...изгнан есмь от бояр, своевольства их ради, от своего достояния и скитаются по странам», – писал он. Под «своим достоянием» разумел он столицу, а под «странами» те места, где жывал со своим «двором». В позднейшей духовной 1582 года, которая до нас не дошла, это странное место читалось иначе. Видевшие завещание 1582 года люди XVIII века свидетельствуют, что в нем царь «яснее о сем говорит и мстить запрещает; скитание свое именует, что изволил жить в городе Старице, а более в Александровой слободе». Но и в этой, менее странной редакции речь «изгнанного от бояр» тирана кажется нам чем-то психически ненормальным. Впечатление усиливается тою последовательностью, с какою Грозный представляет себя и своих детей в обстановке загнания и угнетения. «А будет Бог помилует и государство свое доступите и на нем утвердитесь, – говорит он детям, – и аз благославляю вас»; или в другом месте: «...а докудова вас Бог помилует, свободит от бед, и вы ничем не разделяйтесь». Даже в известном послании в Кириллов монастырь, которое все полно обличениями монахов, проглядывает то же настроение человека, находящегося в опасности. Третья женитьба Грозного на Марфе Собакиной принесла гибель многим из ее родни. Поминая в послании постриженного в монахи дядю этой царицы Варлаама Собакина, Грозный говорит, что «Варлаамовы племянники хотели было меня и с детьми чародейством извести, но Бог меня от них укрыв: их злодейство объявилось, а потому и сталося» (то есть сталася их казнь). О заговоре и покушении Собакиных на Грозного история не знает, только сам Грозный обнаруживает эту, по-видимому, мнимую опасность для него со стороны несчастной семьи<sup>44</sup>.

В этом чувстве страха пред несуществующими опасностями позволительно видеть начатки той мании преследования, которая так известна и распространена в наше время. Какую многих страдающих (или, лучше сказать, обладающих) этой манией, у Грозного она не обратилась в определенную душевную болезнь. До конца своих дней он продолжал правильно воспринимать впечатления, хорошо понимать сложную обстановку современной политической жизни и разумно отзываться на ее запросы. Только в данном пункте он терял душевное равновесие, легко отдавался страху и подозрениям и яростно защищал себя от мнимых покушений и нападений. На этой почве выросла опричнина с ее насилиями и казнями и началось скитание царя «по странам» вместо оседлого пребывания в Москве. На этой же почве, как подмечено вообще над маньяками, выросло столь характерная для Грозного болтливость и склонность к шутке и насмешке. Грозный последних лет его деятельности – не умалишенный человек, но человек, лишенный душевного спокойствия, угнетаемый страхом за самого себя и своих близких. Это – одна сторона его «ненормальности». Другая – близкая к тому, что называется «садизмом»,

<sup>44</sup> Марфа Собакина умерла через две недели после своей свадьбы с царем; из ее родни трое были казнены, дядя был сослан Грозным в монастырь.

то есть соединение жестокости с развратом. Эта черта в натуре Грозного, воспитанная его несчастным детством, к старости усилилась до чрезвычайных проявлений. Его жертвы погибали в утонченных истязаниях, и погибали сразу сотнями, доставляя тирану своеобразное удовольствие видом крови и мучений. Иногда Грозный «кался», признавая, что «он разумом растлен и скотен умом», что он осквернил себя убийством, блудом и всяким злым делом, что он «паче мертвеца смраднейший и гнуснейший»; но это был лишь обряд. Истинно и глубоко калялся и скорбел он лишь тогда, когда в припадке гнева своей палкою убил собственного сына, того царевича Ивана, который один давал отцу надежду на продолжение рода и был убежденным продолжателем его политики и нрава. Сокрушив, так сказать, свое собственное будущее, Грозный только в эту минуту испытал настоящую горе и понял, что значит страдать. В спешной грамотке 12 ноября 1581 года из Александровской слободы в Москву боярам Грозный писал, что не может ехать в Москву, так как царевич «разнемогся и нынече конечно болен», и эта грамотка является красноречивым свидетельством того душевного смятения, какое овладело Грозным в дни его невольного преступления. Но вскоре же после кончины царевича Грозный пришел в себя и вернулся к делам: это было время важных и срочных переговоров о мире с Баторием, и горевать было некогда. Однако гнусными проявлениями жестокости и цинизма не исчерпывалась духовная жизнь и деятельность Грозного в эти мрачные годы. До самой смерти он хранил в себе добрые уровни времен «Избранной рады», ее метод широкой постановки очередных тем управления и способность систематического выполнения их на деле. Как ни судить о личном поведении Грозного, он останется как государственный деятель и политик крупной величиной.

В заключении речи о Грозном во вторую половину его царствования необходимо отметить одну склонность, замеченную его современниками и ими осужденную. Это склонность к иностранцам, интерес к Западной Европе. В начале нашего очерка было указано, что общение с Европой для Грозного было семейной традицией. И дед и отец его начали и поддерживали сношения с государствами Средней и Южной Европы. Подчинение Новгорода и Пскова поставило Москву в непосредственное соседство с «немцами ливонскими и свейскими, и через них и с Ганзой. Родство с Палеологами привлекло в Москву «фрягов», представителей романских наций, главным образом итальянцев. Сам Грозный начал сношения с Англией. Ливонская война поставила его в некоторую связь с Данией, с которою у него оказались общие враги. Грозного интересовали не только политические и торговые комбинации, вытекавшие из тех или иных сношений, но интересовала и самая культура Европы, ее техника, ее наука, ее религия. В своем месте было указано, как скоро после первого знакомства Москвы с минским делом у Грозного под Казанью оказался минский мастер, «подкопыватель», с учениками. Упоминали мы также о Гансе Шлитте, вербовавшем в Средней Европе всякого рода техников для Москвы. Интересовался Грозный и врачами: тот же Шлитте пригласил в Москву из Германии более 20 лиц медицинской профессии. Этим приглашенным не удалось пробраться к Грозному сквозь ганзейские и ливонские заставы. Зато другие медики свободно приезжали в Москву через устья Северной Двины и Холмогоры. Это были по большей части англичане, между которыми встречались люди действительно сведущие (Роберт Якоби, Арнульф Линзей). В 1570 году в Москву явился из Англии же немец по происхождению, питомец Кембриджа, доктор и астролог («волшебник») Елисей Бомель, или Бомелий. Этому проходимцу и интригану суждено было сыграть видную роль при Грозном. В течение целого десятилетия состоял он при царе не только в качестве медика, но и как гадатель-астролог и составитель ядов, предназначенных для опальных людей. Современники знали о его близости к царю и сокрушались ею. Думали даже, что Бомелий был подослан к Грозному его врагами, Литвой и ливонцами; это они «к нему прислаша немчина лютого волхва нарицаемого Елисея, и бысть ему любим в приближении; и положи на царя страхование... и конечно был отвел царя от веры: на русских людей царю возложи свирепство, а к немцем на любовь преложи». Так говорил один летописец; другой утверждал,

что Бомелий прямо лишил Грозного ума: царь, по его словам, «в ратех и войнах ходя, свою землю запустошие, а последи от иноверца (Бомелия) ума исступи и землю хотя погубити, аще не бы Господь живот его прекратил». Хотя в конце концов Бомелий и погиб от Грозного, как погибали многие его любимцы, по подозрению в «измене», однако его влияние на царя глубоко запало в памяти русских людей. Один из писателей начала XVII века, Иван Тимофеев, более четко, чем прочие современники, выразил мысль о том, что Грозный к концу своей жизни подпал иноземным симпатиям и влияниям. Он говорит, что царь, избив одних своих бояр и разогнав других, вместо них «от окрестных стран приезжающая к нему возлюби». Иных он сделал своими интимными советниками («в тайномыслие си приятова»); другим вверил свое здоровье ради их «врачевные хитрости». Они же принесли «душе его вред, телесное паче нездравие», а кроме того, внушили ему «ненавидение на люди его». Тимофееву казалось, что и «средоумные люди могли бы разуметь, еже не яти веры врагом своим вовеки»; между тем Грозный, «толикий в мудрости диким побежден бысть, разве слабостию своея совести», сам вдался в руки иноземцам. «Увы! (воскликает Тимофеев) вся внутренняя его в руку варвар быша и яже о нем восхоте да сотвориша». Здесь, конечно, вспоминается прежде всего Бомелий, но разумеются и вообще иноземцы, появившиеся к концу царствования Грозного в значительном числе в Московском государстве. Торговые англичане и голландцы, торговавшие в Москве и на русском Севере; пленные немцы и литва, поселенные в разных городах, до Лашиева включительно; иностранные послы, с большою свитой приезжавшие в Москву, – все эти люди могли внушить представление, что царь дал силу иноземному элементу, покровительствует ему и поощряет его. Откинув неизбежные преувеличения, не повторим вслед за летописцами, что Грозный лишился ума «от иноверца», но признаем, что склонность к общению с европейцами и с Западом выражалась у Грозного достаточно ярко и сильно. Бесспорно, что в минуты «страхования» от «измены» он даже думал о возможности покинуть Русь и тогда хотел искать убежища на Западе, именно, в Англии.

# Борис Годунов

## Глава первая Карьера Бориса

### І. Личность Бориса в научной литературе

Личность Бориса Годунова всегда пользовалась вниманием историков и беллетристов. В великой исторической московской драме на рубеже XVI и XVII столетий Борису была суждена роль и победителя и жертвы. Личные свойства и дела этого политического деятеля вызывали у его современников как похвалы, выраставшие в панегирик, так и осуждение, переходившее в злую клевету. Спокойным исследователям событий и лиц надлежало устранить и то и другое, чтобы увидеть истинное лицо Бориса и дать ему справедливую оценку. Этот труд исследования взял на себя впервые младший современник Бориса, автор «Временника» XVII века, дьяк Иван Тимофеев, «книгочтец и временных книг писец». Однако, составив любопытнейшую характеристику «рабо-царя» (Бориса), он в конце концов сознался, что не умеет его понять и не может уразуметь, что преобладало в Борисе: добро или зло. «В часе же смерти его (Бориса) никтоже весть, что возодле и кая страна мерила претягну дел его, благая ли злая», – говорит Тимофеев. В самые первые годы XIX века такую же загадку явился Борис для знаменитого Карамзина. Над «палаткою» (склепом) Годуновых в Троицкой лавре Карамзин риторически восклицал: «Холодный пепел мертвых не имеет заступника, кроме нашей совести: все безмолвствует вокруг древнего гроба!.. Что, если мы клевещем на сей пепел, если несправедливо терзаем память человека, веря ложным мнениям, принятым в летопись бессмыслием или враждою?» Тот же самый вопрос встает и перед историком нашего времени: до сих пор исторический материал, касающийся личной деятельности Бориса, настолько неясен, а политическая роль Бориса настолько сложна, что нет возможности уверенно высказаться о мотивах и принципах его деятельности и дать безошибочную оценку его моральных качеств. В этом находит свое объяснение и донныне существующая литературная разногласица относительно Бориса. Если в драме и в исторической повести Борис является обычно с чертами интригана и злодея, то в этом следует видеть не столько выражение исторических убеждений авторов, сколько прием драматической концепции, творческой мысли. Но и в ученой литературе, даже до последних десятилетий, Борис у многих писателей выступает мрачным злодеем, идущим к трону через интригу, обман, насилие и преступление (Н.И. Костомаров, И.Д. Беляев, Казимир Валишевский). На этих писателей продолжает влиять та летописная и «житийная» традиция, которая в XVII–XVIII веках пользовалась силою официально установленной «истины» и только в XIX веке стала уступать усилиям свободной научной критики. Как глубоко эта традиция, невежественная и грубая, может возмущать неподчиненный ей ум, свидетельствуют скорбные и полные сарказма слова одного из новейших исследователей, посвященные «историографии» Бориса. Коснувшись мимоходом эпохи Бориса, профессор А.Я. Шпаков был изумлен обилием обвинений против Бориса и их легкомыслием: «История Бориса Годунова, – говорит он, – описана в летописях и различных памятниках, а оттуда и у многих историков, весьма просто. После смерти Ивана Грозного Борис Годунов сослал царевича Дмитрия и Нагих в Углич, Богдана Вельского подговорил устроить покушение на Федора Ивановича, потом сослал его в Нижний, а И.Ф. Мстиславского в заточение, где повелел его удушить; призвал жену Магнуса, «короля Ливонского», дочь Старицкого князя Владимира Андреевича – Марью Влади-

мировну, чтоб насильно постричь ее в монастырь и убить дочь ее Евдокию. Далее он велел перебить бояр и удушить всех князей Шуйских, оставив почему-то Василия да Дмитрия Ивановичей; затем учредил патриаршество, чтобы на патриаршем престоле сидел «доброхот» его Иов; убил Дмитрия, подделал извещение об убийстве, подтасовал следствие и постановление собора об этом деле, поджег Москву, призвал крымского хана, чтобы отвлечь внимание народа от убийства царевича Дмитрия и пожара Москвы; далее он убил племянницу свою Феodosию, подверг опале Андрея Щелкалова, вероломно отплатив ему злом за отеческое к нему отношение, отравил Федора Ивановича, чуть ли не силой заставил посадить себя на царский трон, подтасовав земский собор и плетями сбивая народ кричать, что желают иметь его на царство; ослепил Симеона Бекбулатовича; после этого создал дело о заговоре «Никитичей», Черкасских и других, чтобы «известить царский корень», всех их перебил и заточил; наконец, убил сестру свою царицу Ирину за то, что она не хотела признать его царем; был ненавистен всем «чиноначальникам земли» и вообще боярам за то, что грабил, разорял и избивал их, народу – за то, что ввел крепостное право, духовенству – за то, что отменил тарханы и потворствовал чужеземцам, лаская их, приглашая на службу в Россию и предоставляя свободно исповедовать свою религию, московским купцам и черни – за то, что обижал любимых ими Шуйских и Романовых и прочих. Затем он отравил жениха своей дочери, не смог вынести самозванца и отравился сам. Вот и все»<sup>45</sup>.

Подкрепленный точными ссылками, этот перечень обвинений на Годунова не измышлен и даже не преувеличен. Он только собирает вместе все то, чему верили и чему не верили историки, что они излагали как факт и что опускали по несообразности и невероятности. Несчастье Бориса состояло в том, что в старые времена писавшие о нем не выходили из круга преданий и клевет, внесенных в летописи и мемуары. Дело стало меняться, когда, с изменением научных интересов, внимание историков направилось от личности Бориса к изучению той эпохи в ее целом. Серьезное и свободное исследование времени Бориса повело к тому, что с достоверностью выяснился большой правительственный талант Бориса и в его характеристику вошли новые, благоприятные для его оценки черты. Правда, не всех историков новые материалы расположили в пользу Годунова; но как только явилась возможность перейти от «летописных повествований» к «документальным данным», у Годунова стали множиться в науке защитники и почитатели. Не говорим об «историографе» Миллере, который в XVIII веке прямо-таки не смел быть откровенным в отзывах о Годунове из боязни выговоров и взысканий от начальства. Более свободный и смелый историк николаевского времени М.П. Погодин должен быть признан первым открытым апологетом Годунова. По отзыву его университетского слушателя, «голос его принимал живое, сердечное выражение, когда он говорил о Борисе Годунове и с увлечением доказывал нам (студентам), что Борис Годунов не был убийцей царевича Дмитрия и не мог быть». С кафедры и в печать переносил Погодин свою симпатию к Борису. За Погодиным следовал Н.С. Арцыбашев (1830) с его оправданием Бориса от обвинения в покушении на царевича, А.А. Краевский (1836) с общей панегирической характеристикой Бориса и П.В. Павлов (1850) с его указанием на положительное значение всей деятельности Годунова как правителя и политика. Позднее в пользу Бориса по разным поводам высказывались К.С. Аксаков (1858), Е.А. Белов (1873), А.Я. Шпаков (1912) и некоторые другие писатели. Нельзя, однако, скрыть, что если не враждебны, то, во всяком случае, очень холодны к Борису остались такие авторитетные исследователи, как С.М. Соловьев и В.О. Ключевский. Однако их историческая прозорливость позволила им рассмотреть в Борисе не одни черты драматического злодея, но и качества истинно государственного деятеля. Со времени именно «Истории» Соловьева Борис стал предметом не столько обличения, сколько серьезного изучения. Быть

<sup>45</sup> Шпаков А.Я. Государство и церковь в их взаимных отношениях в Московском государстве. Царствование Федора Ивановича: Утверждение патриаршества в России. Одесса, 1912. С. 56–60.

может, дальнейшие успехи историографии создадут Борису еще лучшую обстановку и дадут его «многострадальной тени» возможность исторического оправдания.

## 2. Род Годуновых и служба Бориса; момент его выступления на государственном поприще

Нетрудно собрать данные для «послужного списка» Бориса Федоровича Годунова; их сохранилось немного. Происходил он из рода «исконивечных» московских служилых «вольных слуг», которые гордились тем, что они «искони-вечные государские ни у кого не служивали окромя своих государей». По родословному преданию (которого никто не оспаривал), предком Годуновых был ордынский мурза Чет, приехавший около 1330 года из Орды служить великому князю Ивану Калите и крещенный с именем Захария. Кроме Годуновых, от Чета пошли столь «честные семьи», как Сабуровы и Вельяминовы. Если это не была самая вершина московской знати, то, во всяком случае, это был слой, близкий к вершине, попадавший в думные чины и служивший во дворце. Едва ли прав был с точки зрения историка А.С. Пушкин, влагая в уста князя Шуйского (в «Борисе Годунове») пренебрежительные слова о Борисе: «Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, зять палача и сам в душе палач». Шуйские, конечно, могли свысока смотреть на годуновский род, не княжеский и до ласки Грозного не боярский; но никто не мог бы в XVI веке назвать Годунова «вчерашним рабом» и «татаринном». Два с половиной века род был православным и с 70-х годов XVI столетия решительно вошел в Думу в лице Дмитрия Ивановича, Ивана Васильевича и Бориса Федоровича Годуновых<sup>46</sup>. Личная карьера Бориса началась для него рано: лет 20-ти от роду, около 1570 года, он женился на дочери государева любимца Григория (Малюты) Лукьяновича Бельского-Скуратова и стал придворным человеком.

Приближенность его к Грозному царю выразилась в том, что он занимал должности и исполнял поручения «близко» от самого государя: бывал у него «рындою» (в ближней свите) и «дружкой» на свадьбах царских. Тридцати лет от роду Борис уже получил боярский сан, будучи «сказан» в бояре в 7089 (1580–1581) году «из крайчих» или «кравчих» (должность важная: крайчий за государевым столом ставил кушанья «пред государя», приняв их от стольников и сам отведав с каждого блюда). Все такого рода данные о Борисе приводят к мысли, что он был личным любимцем Грозного и своими ранними успехами был обязан не столько своей «породе», сколько любви царя к его семье, если не к нему самому. Таким же доказательством фавора Годуновых может служить и женитьба царевича Федора Ивановича на сестре Бориса – Ирине Федоровне Годуновой (вероятно, в 1580 году). Выбрав для сына жену в семье Годуновых, Иван Грозный ввел эту семью во дворец, в свою родню. В качестве царского родственника Борис в ноябре 1581 года мог благовидно вмешаться в семейную ссору Грозного царя. По летописному рассказу, вполне правдоподобному, он получил тяжкие побои от царя за то, что «дерзнул внити во внутренние кровы царевы» и заступиться за царевича Ивана Ивановича, которого, как известно, Грозный до смерти избил. Царь и Борису «истязание многое сотвори и лютыми ранами его уязви». Вследствие такого «оскорбления» Борис расхворался и долго лечился. Посетивший его на дому Грозный вернул ему свое расположение, и Борис до самой кончины Грозного «у него, государя, в близости пребывал». В час смерти царя Ивана (1584) Борис находился уже в числе первейших государственных сановников и принял участие в образовании правительства при преемнике Грозного царя, Федоре Ивановиче, не способном ни к каким вообще делам. На втором году его царствования Борис добивается уже правитель-

---

<sup>46</sup> «Годуновы – даже очень знатный род, – говорит историк местничества А.И. Маркович, – что легко и видеть: он дал четырех бояр до воцарения Бориса; родичи его, Вельяминовы, Сабуровы и другие тоже считали у себя немало бояр» (Маркевич А.И. О местничестве. Киев, 1879–1888. С. 643).

ственного первенства, а в 1588 (приблизительно) году делается формально признанным регентом государства, «царского величества шурином», «и добрым правителем», который «правил землю рукою великого государя». Целые десять лет (1588–1597) правительствовал Борис в Москве, раньше чем бездетная кончина Федора открыла ему дорогу к трону. Наконец в 1598 году «Lord-protector of Russia (лорд-покровитель России (англ.), – так звали англичане Бориса) был земским собором избран на царство и стал «великим государем, царем и великим князем всея России Борисом Федоровичем». Таков был житейский путь Бориса, исполненный успехов и блеска, необычайно удачный и, как увидим, полный терний.

Борис вступил в правительственную среду и начал свою политическую деятельность в очень тяжелое для Московского государства время. Государство переживало сложный кризис. Последствия неудачных войн Грозного, внутренний правительственный террор, называемый опричниной, и беспорядочное передвижение народных масс от центра к окраинам страны расшатывали к концу XVI века общественный порядок, внесли разруху и разорение в хозяйственную жизнь и создали такую смуту в умах, которая томила всех ожиданием грядущих бед. Само правительство признавало «великую тощету» и «изнурение» землевладельцев и отменяло всякого рода податные льготы и изъятия, «покаместа земля поустроится». Борьба с кризисом становилась неотложной задачей в глазах правительства, а в то же время и в самой правительственной среде назревали осложнения и готовилась борьба за власть. Правительству необходимо было внутреннее единство и сила, а в нем росла рознь и ему грозил распад. Борису пришлось взять на себя тяжелую заботу устройства власти и успокоения страны. К решению этих задач приложил он свои способности; в этом деле он обнаружил свой бесспорный политический талант и, в конце концов, в нем же нашел свое вековое осуждение и гибель своей семьи.

### **3. Вопрос о верховной власти в Московском государстве. – Старое московское боярство. Княжата XVI века. – Местничество. – Княженецкие вотчины. – Опричнина Грозного; ее прямые и косвенные последствия**

Рассказ о деятельности Бориса начнем с вопроса об устройстве власти и о борьбе за обладание ею. Это был один из самых сложных и больных вопросов московской жизни того времени. Страстность и жестокость Грозного придали ему особенную остроту, вывели его из области теоретической и книжной в действительную жизнь и обогатили напрасной кровью невинных жертв царской мнительности и властолюбия.

Объединение великорусских областей под московскую властью и сосредоточение власти в едином лице московского великого князя совершились очень незадолго до Ивана Грозного энергией его деда и отчасти отца. Принимая титул царя (1547) и украшая свое «самодержавие» пышными фикциями родства (идейного и физического) со вселенскими династиями «старого» и «нового» Рима, Иван Грозный действовал в молодом, только что возникшем государстве. В нем еще не сложился твердый порядок, все еще только подлежало закреплению и определению и не было такой «старинности» и «пошлины», которая была бы для всех незыблемой и бесспорной. Правда, власть «великого государя» на деле достигала чрезвычайной полноты и выражалась в таких формах, которые вызывали изумление иностранцев. Известны слова австрийца барона Герберштейна о том, что московский великий князь «властью превосходит всех монархов всего мира» и что «он применяет свою власть к духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно и по своей воле жизнью и имуществом всех». Это был бесспорный и очевидный факт; но в глазах русских людей XVI века он еще требовал правового и морального оправдания. Московская публицистическая письменность XVI века охотно обсуждала вопросы о пределах власти княжеской и царской, о возможности и необходимости противодей-

ствия князю, преступившему богоустановленный предел своей власти, о нечестивых и лукавых властителях («таковой царь не Божий слуга, но диавол, и не царь, но мучитель»), наконец, о том, что власть царская ограничивается законом Божиим и действует только над телом, а не над душою подвластных ему людей. В основе подобных рассуждений лежали требования христианской нравственности и религиозного долга; в них не было стремления к внешнему ограничению княжеского и царского произвола. Напротив, вся церковная письменность проникнута была мыслью о богоустановленности власти благочестивого московского монарха и о необходимости повиноваться и служить «истинному царю», который есть «Божий слуга», которого Бог «в себе место» посадил и которого суд никем не посужается. Налагая на «самодержца» обязанность быть «истинным», «правым», «благочестивым», церковные писатели налагали на подвластных такому царю людей обязанность служить ему верно и безропотно. Мысль о необходимости «предела» самовластию великого государя, хотя бы и законного и благочестивого, возникала в иной среде – именно в боярской. Здесь руководились не столько благочестием, сколько практическими соображениями.

Давно признано историками, что Москва была обязана своими первыми политическими успехами московскому боярству. В Москве с XIV столетия сложился определенный круг боярских семей, связавших свою судьбу с судьбою московского княжеского рода и успешно работавших на пользу Москвы и ее князей даже и тогда, когда сами князья оказывались – по малолетству и иным причинам – недееспособными. Династия признавала заслуги своих бояр; знало о них и население; биограф Дмитрия Донского вложил в его уста особую похвалу боярам: «Родихся пред вами и при вас возрастах и с вами царствовах... отчину свою с вами соблюдох... и вам честь и любовь даровах, под вами города держах и великие волости... и веселихся с вами, с вами и поскорбех; вы же не нарекошесь у мене бояре, но князи земли моей». Так говорил Дмитрий боярам, а детям своим говорил он на смертном одре: «...бояры своя любите... без воля их ничтоже не творите». Союз династии и боярства представлялся крепким до середины XV века, до тех пор, пока судьба не послала обеим сторонам своеобразное испытание в виде появившейся в Москве толпы служилых князей, или «княжат», как называл их Грозный.

Собирание великорусских земель под власть Москвы сопровождалось обычно тем, что князья, владевшие этими землями, оказывались и сами в Москве. Если они не уехали по своей доброй воле от великорусских государей в Литву и если их не выгоняли сами государи, то им некуда было деться, кроме Москвы. Они приходили туда, били челом великому государю в службу и «приказывались» ему со своими княжествами; великий же государь их жаловал, в службу принимал, а потом, получив от них их волости, как политическое владение, жаловал князей их же волостями «в вотчину», то есть передавал им их волости в потомственное частное обладание. Так совершалось превращение «государя князя» в служилого человека, «холопа» великого государя московского. После того как московские власти водворили в княжеской волости свои порядки и извлекали из нее все, что там надобилось великому государю, волость передавалась в распоряжение ее наследственным владельцам уже на новых основаниях: она превращалась в простое льготное владение, где владельцы обладали иммунитетом и величали себя по-старому «государями», перестав быть ими на деле. С горьким сарказмом рассказывает о подобном превращении Ярославля в московскую волость ярославский летописец, местный патриот. Под 1463 годом сообщает он об открытии мощей ярославского великого князя Федора Ростиславича с двумя сыновьями и говорит: «Сии бо чудотворцы явишася не на добро всем князем Ярославским: простилися со всеми своими отчинами навек, подавали их великому князю Ивану Васильевичу, а князь великий против их отчины подавал им волости и села; а из старины печаловался о них князю великому старому (Василию Темному) Алексей Полуектович, дьяк великого князя, чтобы отчина та не за ними была. А после того в том же граде Ярославли явися новый чудотворец Иоанн Агафонович, сущей созиратай Ярославской земли: у кого село добро, ин отнял, а у кого деревня добра, ин отнял да отписал на великого

князя; а кто будет сам добр, боярин или сын боярский, ин его самого записал. А иных его чудес множество не мощно исписати, понеже бо во плоти сущей дьявол». В этой скорбной повести указано на то, что ярославские князья от Москвы получили даже не свои старые земли, а в их замену, «против их отчины», новые волости и села. Большим гнездом мелких и бедных землевладельцев осели они в XVI веке при московском дворе после разгрома их княжения московскими «чудотворцами», вроде Алексея Полуектовича и Ивана Агафоновича. Понятно, какие они питали чувства к этим чудотворцам и к их вдохновителям, московским государям. Происходивший из числа именно таких ярославских князей «изменный ярославский владыка» (по слову Грозного) князь Андрей Михайлович Курбский, укрывшись от руки Грозного за литовским рубезом, не пощадил московского государя и его предков в своих отзывах о них. «Обычай у московских князей, – писал он, – издавна желать братии своих крови и губить их, убогих, ради окаянных вотчин, несытства ради своего». Этому обычаю не причастны, по словам Курбского, его предки и родичи – ярославские князья: «... тое плекицы (то есть ветви) княжата не обыхли тела своего ясти и крови братии своей пити, яко некоторым издавна обычай», – язвит он Грозного, разумея под «некоторыми» «издавна кровопийственный род» московской «пленицы» князей. Так откровенен мог быть эмигрант, спасшийся от рук московского тирана. Те же княжата, которых неволя загнала в Москву и отдала в руки московской власти, должны были молчать перед этой властью и покорно нести в Москве свою службу наряду с простыми нетитулованными боярами и слугами великого государя. Но в их душах кипела та же ненависть к поработителю и цвели такие же воспоминания о былой самостоятельности, какими был полон Курбский. Под пятою московской династии служилые князья не забывали, что и они такая же династия; «то все старинные, привычные власти Русской земли, (говорит о них В.О. Ключевский), те же власти, какие правили землею прежде по уделам; только прежде они правили ею по частям и по одиночке, а теперь, собравшись в Москву, они правят всею землею и все вместе». Такое разумение дела было свойственно не одним княжатам; все признавали их «государями» и, в отличие от них, царя московского звали «великим государем», почитая (по выражению Иосифа Волоцкого), что великий государь «всёя Русские земли государям государь». В первое время служилые князья в Москве не смешивались с простыми боярами и составляли собою особый служилый слой; «князи и бояре» – обычная формула официальных перечней московских. Только с течением времени постепенно возник обычай жаловать наиболее родовитых княжат в бояре, а тех, кто «похуже», и в окольные, и таким способом княжата понемногу вошли в боярскую среду старых «исконовечных» московских слуг.

Но это было только официальное, внешнее уравнение княжат с простыми боярами. И те и другие помнили свое различие. Опираясь на «государев родословец» (официальный перечень служилых княжеских и боярских родов), княжата требовали себе первенства во дворце и на службе и считали простых бояр ниже себя по самой «породе», так как, по тогдашнему выражению, те пошли «не от великих и не от удельных князей». При случае княжата были готовы обзывать и «честных», или «больших», бояр «рабами» по отношению к себе, к «государям». Некоторые «полоумы» из ростовских князей дошли даже до того, что в 1554 году заявили недовольствие на брак Грозного с Анастасией Романовной потому, что, по их мнению, это был брак недостойный: государь-де «понял робу свою» и тем «истеснил» их, княжат, ожидавших, по-видимому, его брака с царевною или княжною, по примеру Ивана III и Василия III. Но на княжеский гонор у старинных московских бояр оказывался свой гонор. Они помнили то время, когда их предки работали в Москве против удельных князей и слагали государственный порядок и народное единство в противность княжескому удельному сепаратизму. Их боярские роды были в Москве «своими» в ту пору, когда предки княжат сидели еще по уделам или служили не в Москве, а в других «великих княжениях» (Тверском, Рязанском и других). Мысль о своем московском туземстве старые бояре и выражали в словах, что они «искони-вечные государские, ни у кого не служивали, окромя своих государей» – московских князей.

Память о прежних заслугах и принцип туземства помогли избранным фамилиям нетитулованного боярства удержаться в первых рядах московских сановников княжеского происхождения. «Коренное гнездо старого московского боярства, свившееся еще в XIV веке, – говорит В.О. Ключевский, – уцелело среди потока нахлынувшего в Москву знатного княжья; придавленное им наверху, вытесняемое с высшей служебной ступени, это боярство отстояло вторую ступень и господствовало на ней в XVI веке, стараясь в свою очередь придавить и пришлое боярство из уделов, и второй слой бывшего удельного княжья, пробивавшийся наверх, к своим старшим родичам». От соперничества «старого гнезда» не поздоровилось в Москве многим княжеским ветвям. В то время как простые слуги: Морозовы, Салтыковы, Шейны, Захарьины и Шереметевы, Бутурлины, Сабуровы и Годуновы, Плещеевы держались на вершинах служебной и придворной знати, многие князья спустились в служебные низы и «захудали». Упалых ветвей много было, например, среди ярославских и ростовских князей: «...и велик, и мал в Ростовских князьях, не равны Ростовские», – официально говорилось в XVII веке. Иван Грозный о князьях Прозоровских писал с пренебрежением, что у московских государей таких «...Прозоровских было не одно сто». Иностранец Флетчер выражается еще сильнее: по его сообщению, измельчавших князей в Московском государстве «так много, что их считают за ничто, и вы нередко встретите князей, готовых служить простолюдину за 5 или 6 рублей в год; а при всем том они горячо принимают к сердцу всякое бесчестие или оскорбление прав своих». Если появление в Москве служилых княжат оказалось тяжким житейским испытанием для коренного московского боярства, то и для государей московских княжата оказались неприятными и неверными слугами. Как объяснялся с царем Грозным князь Курбский, мы только что видели. Те же чувства вражды к государям можно было предполагать и у других представителей княжья. Грозный в своих посланиях к Курбскому много раз намекает на то, что ему были известны враждебные мысли и речи князей-бояр; он и прямо говорит Курбскому: «...колики напасти яз от вас приял, колики оскорбления, колики досады и укоризны!» Одни «укоризны» и «досады», конечно, не составляли бы политического неудобства. Власть чувствовала неудобство, во-первых, от постоянных местнических притязаний княжат, а во-вторых, от княженецких вотчин, которые оставались в руках у князей. Местничество – очень известный обычай древней Руси. Так повелось, что во всяком деле и во всяком собрании люди считались «породою» и «отечеством» и размещались не по заслугам и таланту, а по знатности. Обычай господствовал над умами настолько, что его признавали решительно все: и бояре, и государь, и все прочие люди. Знали, что «за службу жалует государь поместьем и деньгами, а не отечеством», а потому и терпели, что люди высокой породы властно шли по отечеству всюду на первые места, ссорились из-за этих мест и не искали воли и ласки великого государя для их занятия. Государь могли устранить отдельных неугодных им лиц, даже погубить их в своей опале; они могли «выносить» на верх своих личных любимцев. Но они не могли устранить всю среду княжеской аристократии от правительственного первенства и не могли править без этой среды государством. Надобно было изобрести какую-нибудь общую меру против княжеской аристократии, чтобы освободить монарха и его правительство от сотрудничества такой неблагонадежной помощницы. Необходимость подобной меры для успехов московского самодержавия представляется вполне ясно.

Менее ясен вопрос о так называемых княженецких вотчинах. Оставленные Москвою во владении своих прежних державных обладателей, они все-таки заботили московских государей и возбуждали их подозрительное внимание. От времени Ивана III и до конца XVI столетия идут ограничительные распоряжения о таких вотчинах: княжатам запрещается продавать их земли кому бы то ни было без ведома великого князя; иногда определенно ограничивается круг лиц, могущих наследовать и приобретать такие вотчины; иногда правительство прибегает к конфискации таких вотчин. Словом, Москва не спускает глаз с княженецкого землевладения; зато и княжата, когда возросло их влияние на дела в малолетство Грозного, прежде всего

хватаются за свои княженицкие вотчины. Грозный жалуется, что при нем они возвратили себе «грады и села», взятые у княжат его дедом, и разрешили свободное обращение княжеских вотчин, запрещенных к продаже и отчуждению московскими государями до Грозного. Чем именно вызывалось такое ревнивое внимание власти к княжескому землевладению, из документов не видно: распоряжения давались без явных мотивов. Можно только догадываться, что крупные вотчины лежали в основе экономической силы княжат, и правительство могло опасаться этой силы ввиду явной оппозиции княжат-владельцев. Кроме того, в своих владениях княжата, вековые владельцы удельных вотчин, сохраняли с их населением крепкую наследственную связь. Они были давними законными «государями» своих земель и их населения; они обладали над своими людьми правом администрации и суда как льготные землевладельцы; они жаловали «в пропитание и в вечное содержание» деревнишки духовенству и своим «служилым» людям. Словом, они правили своими землями почти державным порядком и, в случае надобности, могли бросить подвластное им население в политическую борьбу против Москвы, особенно в тех случаях, когда пользовались любовью населения. Этого-то, по-видимому, и боялись московские государи. Неусыпным надзором и внимательным учетом думали они обезвредить княженицкие вотчины и отнять у их владельцев возможность использовать во вред Москве их материальные средства.

Можно думать, что устойчивая последовательная политика недоверия и подозрений, усвоенная Москвою в отношении княжат, имела некоторый перерыв в первые годы правления Грозного. Впечатлительный царь, по молодости и по живости натуры, подпал влиянию кружка своих друзей. Кружок оказался «лукавым» и «изменным»: он, по-видимому, повел княженицкую политику. По крайней мере, сам Грозный, освободясь от дружеских влияний, именно в этом обвинял членов кружка: они пытались «снимать власть» с доверчивого государя, «приводили в противословие» ему бояр, самовольно и противозаконно раздавали саны и вотчины, оставляя царю только «честь первоседания» (то есть одно председательствование в их среде). Они, словом, ограничили, сколько было возможно, личный авторитет царя, а с княжат пытались снять те ограничения, какие наложены были на них суровой Москвою. Так понял дело Грозный. Когда во время его болезни (1553) обнаружилось стремление бояр-княжат передать после него царство не сыну Грозного, а его двоюродному брату Владимиру, младшему сородичу царской семьи («от четвертого удельного родился!» – восклицал о нем Грозный), то царь вовсе исцелился от симпатий к своим прежним друзьям и постепенно перешел к иного рода чувствам. В нем нарастал страх перед изменным боярством, сознание необходимости общих против него мер и озлобление против слуг, «пожелавших изменным своим обычаем быта владыками» на прежних своих уделах. Целое десятилетие (1554–1564) длилось это состояние глухой вражды и раздражения, эти поиски мероприятий для защиты царской власти и авторитета от притязаний ненадежной среды высшей княжеской знати. Наконец в исходе 1564 и начале 1565 года Грозный надумал свою знаменитую опричнину.

Не все современники Грозного ясно понимали, что такое была эта опричнина. Русские люди думали, что царь просто «играл Божьими людьми», когда разделил свое царство на опричнину и земщину и заповедал опричнине другую «часть людей насилovati и смерти предавати». Смысла в этой «игре» деспота они не видели: «... сим земли всей велик раскол сотвори, и усомневатися всем в мыслех о бываемом», – писал Иван Тимофеев. Замысловатость исполнения задуманных Грозным мероприятий скрыла их идею и цель от непосвященных в дело простых наблюдателей: но идея и цель у Грозного были несомненно. Англичанин Флетчер, побывавший в Москве лет пять спустя после кончины Грозного и обладавший официальными сведениями всей английской колонии в России, обстоятельно объяснил, что сделала на Руси опричнина. По его изложению, направленная против знати опричнина лишила «удельных князей» их наследственных земель и выселила их из их старых вековых вотчин. Сопоставление указаний Флетчера с данными русских документов XVI века открывает постепенно всю кар-

тину действий Грозного в опричнине. Суть опричнины состояла в том, что царь решил применить к областям, в которых находились вотчины служилых княжат-бояр, так называемый «вывод», обычно применяемый Москвой в завоеванных ею землях. Великие князья московские, покоря какую-нибудь область, выводили оттуда наиболее видных и для них опасных людей во внутренние московские области, а в завоеванный край вселяли жителей из коренных московских мест. Это был испытанный прием государственной ассимиляции, в корень истреблявший местный сепаратизм. Это-то решительное средство, направляемое обыкновенно на внешних врагов, Грозный направил на внутреннюю «измену»: он решил вывести княжат из их удельных гнезд на новые места. Флетчер передает дело так, что царь, учредив опричнину, захватил себе вотчины князей, за исключением весьма незначительной доли, и дал княжатам другие земли в виде «поместий» (служебного казенного надела), которыми они владеют, пока угодно царю, в областях столь отдаленных, что там они не имеют ни любви народной, ни влияния, ибо они не там родились и не были там известны. По мнению Флетчера, эта мера достигла своей цели: «высшая знать, называемая удельными князьями, сравнена с остальными; только в сознании и в чувстве народном сохраняет она некоторое значение и продолжает пользоваться внешним почетом в торжественных собраниях». Вывод княжат и конфискацию их вотчин Грозный произвел не прямо и не просто, а обставил дело такими действиями и начал его таким подходом, что возбудил, по-видимому, общее недоумение своих подданных.

Начал он с того, что покинул вовсе Москву и государство и согласился вернуться, по просьбе москвичей, лишь при условии, что ему никто не будет перечить в его борьбе с изменою: «...опала своя класи, а иных казнити, и животы их и статки (имущество, достатки) имати, а учинити ему на своем государстве себе опришнину двор ему себе и на весь свой обиход учинити особой». Особной двор и был составлен из бояр и дворян («тысячи голов» – опричников), придворной служни, московских улиц и слобод, приписанных к опричнине, и различных городов и волостей, которые государь «поймал в опричнину». Устроившись в новом дворе, Грозный начал последовательно забирать в опричнину все большее количество земель, именно тех, которые составляли старую удельную Русь и в которых сосредоточивались вотчины княжат. На землях, взятых в опричнину, царь «перебирал людишек», то есть землевладельцев: иных «принимал» к себе в новую службу, а других «отсылал», иначе говоря, выгонял прочь из их владений, давая им новые земли (и притом вместо вотчин поместья) на окраинах государства. Род за родом, семья за семьей, княжата подпадали под своеобразный пересмотр и в громадном большинстве случаев теряли старую оседлость и выбрасывались вон с наследственных гнезд. В течение двадцати последних лет царствования Грозного опричнина охватила полгосударства и разорила все удельные гнезда, сокрушив княжеское землевладение и разорвав пугавшую Грозного связь удельных «владык» с их удельными территориями. Цель Грозного была достигнута; но ее достижение сопровождалось такими последствиями, которые вряд ли были необходимы и полезны. Взамен уничтожаемых «княжеских вотчин», представлявших собою крупные земельные хозяйства, вырастали мелкие поместные участки; при их образовании разрушалась сложная хозяйственная культура, созданная многими поколениями хозяев-княжат; гибло крестьянское самоуправление, жившее в крупных вотчинах; отпускались на волю боярские холопы, менявшие сытую жизнь боярского двора на голодную бесприютность. Самый характер производимой Грозным реформы – превращения крупной и льготной формы землевладения в форму мелкопоместную и обусловленную службою и повинностями – должен был вызывать недовольство населения. А способы проведения реформы вызывали его еще более. Реформа сопровождалась террором. Опалы, ссылки и казни заподозренных в измене лиц, вопиющие насилия опричников над «изменниками», кровожадность и распущенность самого Грозного, истязавшего и губившего своих подданных во время баснословных оргий, все это пугало и озлобляло население. Оно видело в опричнине только необъяснимый

и ненужный террор и не угадывало ее основной политической цели, которой правительство, по-видимому, и не объясняло народу прямо.

Такова была пресловутая опричнина. Направленная против знати, она терроризировала все общество; имея целью укрепление государственного единства и верховной власти, она расстраивала общественный порядок и сеяла общее недовольство. Знать была разбита и развеяна, но ее остатки не стали лучше относиться к московской династии и не потеряли оппозиционного духа, не забыли своих владельческих преданий и притязаний. Все население трепетало пред Грозным царем, не умея объяснить, почему это «многих людей государь в своей опале побил и в земских и в опришнине людей выбил». И не успел Грозный закрыть глаза, как в самую минуту его кончины Москва уже бурлила в открытом междоусобии по поводу того, быть ли вперед опричнине или не быть; а княжата, придавленные железной пятою тирана, уже поднимали голову и обдумывали планы своего возвращения к власти. Наблюдая московское общество в годы после смерти Грозного, Флетчер находил, что «варварские поступки» Грозного «так потрясли все государство и до того возбудили всеобщий ропот и непримиримую ненависть, что, по-видимому, это должно окончиться не иначе как всеобщим восстанием». Он оказался провидцем: опричнина в значительной степени обусловила собою великую смуту, едва не погубившую Московское государство.

Вот в каких обстоятельствах боярин Борис Федорович Годунов оказался у кормила власти в Москве.

#### **4. Боярство в исходе XVI века. – Родовая знать и государева родня; их взаимные отношения**

В начале царствования царя Федора Ивановича внутренние отношения в боярстве московском уже не походили на то, что мы видели в боярстве до опричнины. В старое время княжата были многолюдным кругом знати, высоко державшим свою голову и свысока смотревшим на нетитулованное боярство. Опричнина истребила этот людный круг. Убыль в составе старого княжеского боярства была так велика, что, по словам В.О. Ключевского, к началу XVII века из больших княжеско-боярских фамилий прежнего времени действовали Мстиславские, Шуйские, Одоевские, Воротынские, Трубецкие, Голицыны, Куракины, Пронские, некоторые из Оболенских и в числе их последний в роду своем Курлятев – «и почти только». Остальная княжеская знать бежала, казнена, вымерла, разорилась, словом, исчезла с вершин московского общества. При такой убыли, можно даже сказать, при таком разгроме уцелеть мог лишь тот, кто послушно склонился перед Грозным и пошел служить в опричнину, отложив в новом «опришнинском» порядке службы старые претензии и признав силу нового правила, что «и велик и мал живет государевым жалованьем». В этом отношении очень показательна была судьба князей Шуйских. Они по родословцу почитались родовитейшими из князей. Как коренной великий русский род, Шуйские ставились «по отчеству» выше не только всех прочих Рюриковичей, но и старейших Гедиминовичей. И поляки считали их *jure successionis haereditariae* (по праву преемственности в наследовании (лат.)) естественными наследниками Московского царства после конца московской династии. Сами Шуйские, конечно, знали о своем родословном первенстве, выражаясь о своих предках, что они в князьях «большая братия» и «обыкли на большая места седати». Но при Грозном эта большая и старейшая братия смиренно пошла служить в опричнину и спасла свое существование только безусловным послушанием деспоту. Можно даже сказать, что Шуйские были единственным среди заметнейших Рюриковичей родом, все ветви которого не только уцелели, но и делали карьеру в эпоху опричнины. Казалось бы, в новых условиях жизни и службы должны были завянуть старые владельческие воспоминания и притязания Шуйских. На деле же они расцвели, как только умер Грозный и забрезжила надежда на возвращение старых доопричинских порядков в Москве. Также как Шуйские, чувствовали

себя и другие пережившие опричнину знатнейшие княжата. Поникнув под грозой опричнины, они подняли головы с ее концом и готовы были, вместе с Шуйскими, добывать себе утраченное первенство при дворе наследника Грозного, царя Федора. Но, как далее увидим, достигнуть успеха княжатам не удалось. Остатки княжеской знати уже не составляли плотной, однородной и сплоченной среды. Брачные союзы, совершаемые в угоду Грозному, ввели в их семьи нетитулованные элементы; случайности карьеры ставили их нередко в зависимость от людей, по сравнению с ними более «худородных». Княжата разбились на кружки и семьи пестрого состава, далеко не всегда согласные между собою. Старые идеалы еще довлели над умами вожаков этой среды и соединяли их в общих стремлениях – в интригах и покушениях на захват влияния и власти. Но эти интриги и покушения не имели большой силы, не шли далее придворной среды и обычно имели характер мелких житейских хитросплетений. На широкую арену общегосударственной интриги вывела княжат только самозванщина, лет через двадцать после смерти Грозного.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.